

«Спор о России» в переписке Василия Маклакова и Василия Шульгина

Судьбы и размышления представителей русской эмиграции «первой волны» уже не одно десятилетие привлекают повышенный интерес как в научном сообществе, так и в широких общественных кругах. Во многом это объясняется удивительным сочетанием в жизни этого поколения, с одной стороны, сохранения духа и черт старой русской культуры и, с другой стороны, трагического опыта утраты Отечества, надежд на его возвращение, реставраторских иллюзий, мучительных попыток оценить пройденный путь, понять и принять новую реальность, сложившуюся на родине, не предавая то, что было по-настоящему дорого и даже священо в той стране, которую они покидали. Теперь, почти сто лет спустя, нам, как ни странно, всё это по-своему очень близко и важно. Неудивительно, что история эмиграции давно уже стала неотъемлемой частью нашей истории.

При этом очевидно, что её изучение требует прежде всего выявления и анализа новых источников, в том числе хранящихся в зарубежных архивах и фактически доступных лишь сравнительно небольшому числу специалистов. Любая публикация этих документов представляется полезной. Но особенно ценно, когда они издаются в соответствии с требованиями археографии и сопровождаются вдумчивым предисловием, обстоятельными комментариями и необходимыми указателями. К числу именно таких изданий относится книга «Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг.» (М.: РОССПЭН, 2012), составленная доктором исторических наук ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН О.В. Будницким для серии «Русские сокровища Гуверовской башни». Яркий эпистолярный диалог двух незаурядных политиков, публицистов и мемуаристов, каждый из которых отстаивал собственный взгляд на пережитую и переживаемую эпоху, безусловно, ещё нуждается в осмыслении и всестороннем исследовании, начатом во вступительной статье О.В. Будницкого «В.А. Маклаков и В.В. Шульгин: друзья-противники» (с. 5–42). С этим связано и желание обсудить эту книгу на страницах журнала «Российская история».

В обсуждении приняли участие доктор исторических наук С.В. Листиков (Институт всеобщей истории РАН), А.В. Репников и И.С. Розенталь (Российский государственный архив социально-политической истории), кандидаты исторических наук Н.И. Дедков (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), А.Э. Котов (Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций), А.С. Пученков (Санкт-Петербургский институт истории РАН) и В.М. Шевырин (Институт научной информации по общественным наукам РАН).

Переписка Василия Алексеевича Маклакова и Василия Витальевича Шульгина будет неинтересна тем, кто в первую очередь интересуется личной жизнью исторических персонажей. И вовсе не потому, что в данном случае читатель имеет дело с сугубо деловыми отношениями либо с более или менее случайным обменом письмами людей, поверхностно знакомых друг с другом. Стоит вчитаться в тексты, уловить их интонации, и мы поймём, что эти два человека обходились без излишних церемоний, не боясь быть неправильно понятыми. Так, в ноябре 1924 г., не получив ответа на одно из своих писем, В.А. Маклаков пеняет В.В. Шульгину, русскому националисту не по партийной принадлежности, а по зову сердца: «Эта *российская учтивость* (курсив мой. – Н.Д.) остаётся всё равно на Вашей совести, если только не предположить, что Вы моего письма просто не получили» (с. 207). Шульгин, который как раз в это время, после долгих мытарств с разводом, обвенчался с М.Д. Седельниковой, отвечает без тени обиды и смущения: «Обвинение меня в неучтивости имеет под собой кой-какое основание. Но именно только кой-какое, потому как я за это время женившись, то с меня все взятки гладки. Я принимаю только поздравления и никаких упреков. И в свою очередь обвиняю Вас в неучтивости, что Вы меня не поздравили, хотя немало этому делу способствовали» (с. 209). Но ещё меньше смущения слышится в ответе Маклакова «подсудимому Шульгину»: «Если бы даже Вы прислали мне картон с оповещением о свадьбе, я, может быть, Вам бы поздравления всё-таки не послал; опыт жизни научил меня, что, поздравляя в таких случаях, можно попасть впросак; никогда не забуду, как Ковалевский осведомлялся о здоровье жены Орлова-Давыдова в то время, как она уже сидела в тюрьме. Поэтому я взял за правило поздравлять новобрачных только в церкви, а когда они из неё вышли, то лучше молчать» (с. 215).

Смелый намёк на скоротечность счастья молодожёна самым неделикатным образом дополнен напоминанием о судьбе графа А.А. Орлова-Давыдова, коллеги обоих корреспондентов по IV Государственной думе. Осенью 1916 г. история его брака с известной актрисой Марией Пуаре завершилась громким судебным процессом, затеянным супругом против жены, которая, чтобы подарить графу сына, симулировала роды и по газетному объявлению купила ребенка у акушерки. Со стороны Маклакова это была шутка, рискованная до предела, особенно с учётом того обстоятельства, что Шульгин к моменту свадьбы был едва ли не вдвое старше Седельниковой и, конечно же, успел выслушать от благожелателей немало соображений относительно отдалённых последствий такой разницы в возрасте. При желании или ином уровне взаимопонимания на сопоставление с Орловым-Давыдовым не трудно было и обидеться, но для Маклакова и Шульгина это была лишь дружеская пикировка, прекрасно демонстрирующая степень доверия, а также отношение к обсуждению вопросов личной жизни, которая служит поводом для подтрунивания, но никак не предметом для серьёзного разговора с интересным собеседником.

Конечно, на страницах растянувшейся на 20 лет переписки периодически возникают вопросы, связанные с будничным течением бытия. «Пока же пишу, – сообщает Шульгин Маклакову 29 июня 1922 г., – так сказать, в зависимости от тысячи обстоятельств, из которых, может быть, одно из значительных – что у меня нет собственной машинки, а машинистка нередко не может писать от голода» (с. 94). Но в целом их переписка не об этом. Она вся – о далёкой любимой Родине, и ценность её – в том самом споре о России, который вынесен

в заглавие книги. Хотя, если уж быть совсем точным, не спор это был, а неторопливый дружеский разговор, ибо и желания обрести взаимопонимание в этой переписке не меньше, чем стремления отстоять своё мнение. Маклаков сформулировал это так: «Я хотел от Вас не печатной полемики, не печатных отзывов, а той дружеской беседы, которая гораздо интереснее публичной критики» (с. 368).

Как заметил однажды Ж.-П. Сартр, выбрать советчика – это решиться на что-то самому. С собеседником та же ситуация; выбор собеседника для разговора по душам – дело ответственное, можно даже сказать, интимное. Не каждому можно открыть свои мысли, поскольку не каждый оставит сокровенное сокровенным, да и не каждый поймёт. И в этом смысле взаимный выбор, сделанный Маклаковым и Шульгиным, при всей его внешней парадоксальности (если принимать во внимание исключительно их дореволюционную партийную принадлежность), представляется на редкость удачным. Удачным, в том числе, и для нас, имеющих сегодня возможность внимать их диалогу.

Замечательно, как сами собеседники этот выбор обосновывали. «Всё это время, даже теперь, – писал В.А. Маклаков 6 июня 1922 г., – мне Вас очень не хватает; Вы знаете, насколько я ценил Вашу голову и Ваше умение видеть в вещах то, что на самом деле есть, а не то, что полагается видеть по ритуалу или приличию» (с. 84). 14 лет спустя, уже в совершенно иных обстоятельствах, слова Шульгина отозвались отдалённым эхом: «Вы из той эпохи, когда жили!... Меня убивает скудость и пошлость мысли. Никто ничего не может выдумать. Ваша голова свежа по-прежнему» (с. 418). Вот что притягивало их друг к другу, вызывало живой интерес – *голова и непохожесть на других*, т.е. умение независимо мыслить.

Заглядывая в будущее, которое никогда не наступит, Шульгин констатировал: «Между нами... есть существенное расхождение и такого сорта, что оно, так сказать, пророческое: если мы доживём до лучших времён, то эти времена будут испорчены этой трещиной, которая расколется будущую Россию сверху донизу. Увы, мы с Вами будем по разные стороны этого рва, хотя оба будем белыми воронами каждый в своём стане по принадлежности. Мы будем возмущаться неправдой своих единомышленников, но всё же будем среди них оставаться, ибо другой берег будет нам казаться ещё более уклоняющимся от истины» (с. 363). О том, что за ров разделял станы двух «белых ворон», речь ещё впереди, а пока важно обратить внимание на сохраняемое – даже в 1929 г., когда были написаны эти слова, – представление о партийной принадлежности корреспондентов. И, конечно, речь шла не о формальном членстве в партиях и фракциях. Не в организациях было дело, а в чётко обособленных друг от друга направлениях мысли, суждений, представлений о прошлом и будущем, которые зафиксированы на уровне сознания и проявляются в понятном и очевидном для всех делении на «своих» и «чужих». С точки зрения этого структурированного пространства эмигрантской публицистики, где царили, продолжая жаркие дореволюционные споры, люди типа М.В. Вишняка и П.Н. Милокова, Маклаков и Шульгин обязаны были быть лояльными каждый своему лагерю и, соответственно, «чужими» друг другу. Однако, – вот одна из замечательнейших особенностей этой переписки – не обращая ни малейшего внимания на разделяющий их ров, её участники преспокойно занимались делом, к которому российское *общественное мнение* испокон веку относится с недоверием и откровенным непониманием, а именно, по-дружески свободно обсуждали коренные вопросы

политического и идеологического свойства. И эта никем не дарованная свобода забывать о незыблемых доктринах верности партийному стягу делает переписку Маклакова и Шульгина в высшей степени интересной и поучительной для нас, изучивших уже все возможные концепции российской истории начала XX в. – советскую, монархическую, либеральную, националистическую и какие там есть ещё, – но по-прежнему остро тоскующих по *пониманию* того, что же на самом деле произошло с многострадальным нашим Отечеством.

Маклаковская трактовка истории по-прежнему попадает в Россию окольными путями: то через интерпретации её в трудах советских историков, то через переписку его с В.В. Шульгиным и Б.А. Бахметевым¹. Между тем основополагающий труд Василия Алексеевича, без ссылок на который не обходится ни одна достойная работа по предреволюционной истории, на родине автора так и не издан². Причину такого досадного «упущения», к сожалению, приходится искать в отсутствии *политического* запроса на подобные интерпретации исторического процесса.

В отличие от Милюкова, Маклаков профессиональным историком не был. Точнее говоря, он не сделал историю своей профессией, хотя тот же самый историко-филологический факультет Московского университета закончил с дипломом 1-й степени и получил предложение остаться в университете, как тогда выражались, «для подготовки к профессорскому званию»³. Среди учителей Маклакова были В.О. Ключевский, В.И. Герье и, конечно же, П.Г. Виноградов, в семинаре которого он занимался вместе с М.О. Гершензоном и Ю.В. Готье. Такой подготовке, такому профессиональному общению любой историк может только позавидовать, и Маклаков, хотя и пошёл другой дорогой, привитое ему историческое мышление и понимание исторического процесса сохранил, и уже в 1930-х гг., т.е. на минимальном временном удалении, сумел дать своё видение событий рубежа XIX–XX вв., основанное не на поиске виновных и ответственных, а на стремлении выявить глубинные причины произошедшего.

В переписке с Шульгиным этот маклаковский подход совершенно чётко прослеживается уже в 1923–1924 гг. «Чтобы понять, что всё случившееся в России было делом исторической стихии, а не чих-то ошибок, – писал Василий Алексеевич, – достаточно хотя бы читать письма императрицы. Тогда становится совершенно ясным, не только почему произошла революция, но почему было невозможно её предупредить. Конечно, можно было её не делать, в ней не участвовать, можно было даже против неё бороться, но ведь это всё совершенно ничтожные оттенки. По существу же, разыгрывалось что-то совершенно фатальное, заготовленное веками» (с. 106). В другом письме, год спустя, он утверждал: «Всё, что случилось с нами, не только заслужено за наши ошибки, но и вполне закономерно. Российской революцией завершился длинный период русской истории; мы подросли только к концу его... Если с высоты птичьего полёта смотреть на историю последних годов, то становится поразительным».

¹ «Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. Т. 1–3. М.; Стэнфорд, 2001.

² *Маклаков В.А.* Власть и общественность на закате старой России. (Воспоминания современника.) Ч. 1–3. Париж, [1936].

³ Попечитель учебного округа Н.П. Боголепов отказался утвердить данное представление факультета, что послужило одной из причин, побудивших В.А. Маклакова экстерном закончить юридический факультет Московского университета (подробнее см.: *Дедков Н.И.* Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005. С. 50–53).

тельно ясна неизбежность всего того, что случилось, а потому, в сущности, и бесполезность не только обличения других, но даже и собственных покаяний» (с. 175–176).

Конечно, это только наброски (всё-таки перед нами письма, а не монография), но и их достаточно, чтобы понять: для Маклакова революция 1917 года была закономерным следствием процессов, разворачивавшихся в стране на протяжении столетий. И следует признать, что этот подход куда более *историчен и научен*, чем многие современные рассуждения о рукотворности революции, ответственности элит, безответственности большевиков, слабости царя, германских деньгах и т.д. и т.п. Можно потратить уйму сил и времени на то, чтобы разобраться в деталях событий, происходивших в России накануне февраля 1917 г. и едва ли не поимённо установить всех сторонников и противников революции среди того слоя общества, который принято именовать «элитой». Можно также предположить, кого и когда надо было арестовать, сослать, снять с ответственного поста, чтобы события повернули в другое русло. Но все эти исследования и рассуждения, в конечном счёте, будут опираться (неважно, осознанно или неосознанно) на господствующее в нынешнем российском политическом дискурсе предположение, что народ в истории действующим лицом не является, а за него всё и вся решают люди, либо обладающие властью и деньгами, либо достаточно энергичные, чтобы власть и деньги получить.

Политические события благодаря такому делению людей на пастырей и послушное стадо объясняются вполне легко, удобно, понятно и непротиворечиво, но при этом ступёвываются вопросы фундаментального характера, размышление над которыми остаётся уделом людей типа Маклакова. Надо отвлечься от изучения происков, предательств и ошибок, чтобы удивиться глубинному смыслу событий. «То, чего мы не знали, – констатировал Маклаков, – это что мужицкая масса так мало пожелает заступиться за то, чему казалась преданной; что она так легко отвернётся от монархии; что на неё произведёт так мало впечатления издевательство над церковью и святынями. Мы предполагали и раньше, что у массы не было очень сильно государственное и национальное чувство, но такие ценности, как Бог и Царь, были именно её ценностями, а не нашими интеллигентскими, и она бросила их не хуже нашего» (с. 119). Необходимо задуматься, чтобы двинуться дальше – к настоящему постижению истории, которое, как известно, не сводится к рассказу о том, кто и как действовал в то или иное время, но предполагает ещё и выявление причин, заставлявших людей действовать именно так, а не иначе.

Маклаковское видение исторического процесса не востребовано в современной России именно потому, что оно не укладывается ни в одну из господствующих ныне доктрин. Националистов-почвенников и государственников-монархистов оскорбит предположение о том, что в 1917 г. мужицкая масса отвернулась от Церкви, коммунистов не устроит неприятие революции, а либералов – критическое отношение к интеллигенции, не только первой бросившей Бога и царя, но и не знавшей собственного народа. И, конечно же, никого не устроит представление о том, что доля ответственности за революционные бедствия лежит на всех.

Чего нет в маклаковских суждениях о революции и об истории, так это желания принять чью-то сторону, понравиться одной из партий. Он независим, по крайней мере, в письмах, и доверительный характер переписки с Шульгиным в данном контексте очень важен: свои мысли можно было формулировать

предельно точно, без оглядки на возможную реакцию общественного мнения и без риска получить в ответ на аргументы порцию догм и идеологических обвинений. Но ещё более важна была доверительность тогда, когда дело касалось того «рва», который в будущем должен был разделить авторов переписки, ибо ров этот имеет имя – еврейский вопрос.

Представления Маклакова и Шульгина о значении еврейского вопроса для истории Русской революции требуют особого рассмотрения. Однако, не вдаваясь в его обсуждение по существу, необходимо заметить, что отношение Маклакова к еврейскому вопросу полно и точно сформулировано только здесь, в письмах к Шульгину (а именно 23 декабря 1929 г.), которому, кстати, пришлось приложить немало усилий, чтобы вызвать своего корреспондента на откровенный разговор. Причём Маклаков счёл нужным особо оговорить, что пишет «не для печати, совершенно конфиденциально, и материалом, который я Вам дам, я Вам разрешаю воспользоваться разве для моего некролога, если Вам придёт в голову его написать» (с. 368). Казалось бы, за этими словами последует нечто сенсационное, сногшибательное, но нет – они предваряют собой не разоблачения, а всего лишь некоторые выводы относительно перспектив публичного обсуждения еврейского вопроса. Маклаков признаётся, что «есть два сорта людей, с которыми я не могу разговаривать: это, во-первых, те антисемиты, которых Вы по своей терминологии называете зоологическими», а во-вторых, «это все те люди, которые приходят в искреннее негодование при малейшем нападке на евреев, которые видят оскорбление их национальности в предпочтении нами своей собственной, которые засчитывают в разряд антисемита всех тех, кто не разделяет их мнения о себе, а всякого антисемита считают погромщиком» (с. 370–371). «Столкновение этих двух психологий, спор между ними... делает всякий публичный спор по еврейскому вопросу бесполезным и даже глубоко вредным...», – заключает он. – Попытка разобрать объективно еврейский вопрос сейчас... кроме взаимной горечи и раздражения в споре в этих условиях ничего не оставят. А между тем... давно пора ввести еврейский вопрос в те настоящие рамки спокойного и объективного размежевания и формулировки притязаний друг к другу, который никогда не делался» (с. 372).

Минуло более 80 лет, но маклаковская оценка перспектив спокойного обсуждения еврейского вопроса отнюдь не устарела, а нежелание публично заявлять о своей одновременной и равной неприязни к представителям двух агрессивных полюсов по-прежнему понятно и не нуждается в пояснениях. В современном русском языке уже само выражение «еврейский вопрос» нередко воспринимается как эмоционально насыщенное, и трудно даже представить контекст, в котором оно прозвучит нейтрально. Однако этот «вопрос», по мнению Маклакова, был далеко не основным. «Для того чтобы понять, как развилась революция в России, – писал он, – мне вовсе не нужно было говорить об еврейском вопросе; его роль настолько второстепенная, что я убеждён, что если вычеркнуть даже всех евреев, то в главных чертах революция совершилась бы точно таким же способом, как она совершилась» (с. 249). Если же взглянуть на ситуацию шире, то окажется, что страсти вокруг Русской революции 1917 г. не утихают, а потрясения последних 25 лет не способствовали примирению враждующих сторон и освобождению исторической науки от навязчивого желания политических группировок (и соответствующих «групп поддержки» в общественном мнении) изменять прошлое в угоду своим интересам и своему видению

будущего. Мы до сих пор живём в ситуации, когда «неправильная» трактовка тех или иных событий может быть объявлена фальсификацией истории.

Переписка Маклакова с Шульгиным своей предельной актуальностью во всём, что касается подходов к изучению Русской революции, является горьким напоминанием о той печальной ситуации, в которой находится сегодня изучение российской истории XX в. Для объективного, спокойного и взвешенного её обсуждения и в наше время требуются доверительность и собеседник, умеющий расслышать и понять аргументы, прозвучавшие с другой стороны рва.

Исаак Розенталь: «В совершенно разных плоскостях»

Многие эмигранты писали о ценности их писем для будущих историков. «Без знания эмигрантской литературы, без такого важного приложения к ней, как эпистолярная литература эмигрантов, не может быть в будущем написана настоящая история русской советской революции», – полагал Н.В. Вольский. По его мнению, «будучи изучаемой параллельно с происходившими в СССР процессами, освещая людей, их мысли, их поведение там и здесь, воздействие одних на других», частная переписка, когда она станет доступна исследователям, «будет способствовать полноте исторического взгляда», тем более что в ней «вскрывается много такого, что наружу в эмигрантскую печать совсем не попадает»⁴.

Ещё раз это подтвердила полная публикация переписки В.А. Маклакова и В.В. Шульгина, известной ранее лишь по её фрагментам. Публикация образцово подготовлена О.В. Будницким с учётом опыта предшествующих его публикаций и вместе с тем с пониманием особенностей именно этого эпистолярного комплекса. Продолжительное общение почтовым, условно говоря, способом не единомышленников, но, напротив, идейных и политических оппонентов – явление редкое. Сразу же вспоминается переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, но никакого сходства тут нет, и не только ввиду различия эпох. На сей раз оба участника «спора о России» в равном положении изгнанников и оба враждебны режиму, который утвердился в России. К тому же они испытывают взаимную симпатию. Маклаков ценит «голову» Шульгина, его литературный талант, положительно отзываясь о его анализе, например, событий 1905 г. Со своей стороны, Шульгин даже называет Маклакова «комплиментарщиком». Но о недавнем прошлом и будущем они рассуждают «в совершенно в разных плоскостях». Стараясь в меру сил и способностей доказывать свою правоту – вплоть до рисования наглядных схем (к чему решил прибегнуть Шульгин), они, судя по опубликованным письмам, так и не переубедили друг друга ни в чём существенном.

Можно в очередной раз констатировать идеологическую разнородность послеоктябрьской русской эмиграции, коренным образом отличавшейся в этом отношении от французской конца XVIII – начала XIX в. В наше время из необъятного резервуара эмигрантской мысли черпают всё, что угодно, на любой вкус, в том числе на потребу сегодняшней конъюнктуры. Это тоже побуждает внимательнее вчитаться в тексты, принадлежавшие деятелям разным и незаурядным, выясняя, в чём они были правы и неправы и от чего зависело их «про-

⁴ Юрьевский Е. Привет // Социалистический вестник. 1960. № 7. С. 127.

светление» или наоборот «затмение» («Василием Тёмным» назвал однажды Маклакова Шульгин, досадуя на его несговорчивость).

По отдельности о Шульгине и Маклакове написано немало⁵, но переписка открывает новые возможности для сопоставления, и это как раз самое перспективное в исследовательском плане. Способствуют этому и обширные комментарии, включающие фрагменты других источников, в частности, изданной ранее переписки В.А. Маклакова и Б.А. Бахметева. Во вступительной статье О.В. Будницкий не только приводит разнообразные сведения об участниках переписки, но и сравнивает и взвешивает их позиции по отдельным вопросам, оправданно обращая внимание на главное – противоположность способов восприятия мира.

Комплименты, расточаемые корреспондентами друг другу, не должны обмануть, у каждого из них свой мировоззренческий стержень. Маклаков не перестаёт быть либералом, Шульгин – консерватором и русским националистом. Правда, и Маклаков – «просвещённый националист». И дело не в том, что Шульгин менее эрудирован; он тоже, возражая оппоненту, взывает к логике и ссылается на факты. Обличая утопистов – от Бакунина до Розанова, себя он к этой «породе» не причисляет. Но в его рассуждениях присутствует, даже выпирает, по выражению Маклакова, «навязчивая идея, которая исключает всё остальное» (с. 253), – иррациональная еврейская «мономания», играющая роль некоего универсального ключа (или отмычки?) к прошлому, настоящему и будущему России и мира. Шульгин находит у Маклакова «ощущение реальности», «чарующую объективность», «жемчужины беспристрастия», но не признаёт ли он тем самым, что у него самого этих качеств нет? Маклаков явно шадит корреспондента, отмечая лишь «недостаток объективности».

Хотя характеристика Маклакова как консервативного либерала в последнее время вызывает возражения у исследователей⁶, никем не оспаривается, что он занимал особое положение среди кадетов. Шульгин писал ему, что каждый из них двоих – «белая ворона», также подчёркивая свою «особость» в монархическом стане. Относительно того, насколько она была значительна, спорили с момента выступления Шульгина по делу Бейлиса и спорят до сих пор⁷. «Даже В. Шульгин почти обижается и считает злостной неправдой, когда о нём говорят как о погромщике», – отметил в 1927 г. М. Вишняк. Кроме того, Шульгин не считает доказанной «гипотезу» «масонобличителей», согласно которой в России будто бы был реализован зловещий план тайного еврейского мирового правительства, хотя тождество большевиков и евреев для него – несомненный и решающий факт, как и то, что «Россия – в еврейских руках». Между тем, с точки зрения Маркова 2-го, такой антисемитизм был недостаточен, поскольку Шульгин не рассматривает «еврейство в его целом».

Как бы ни оценивать эти нюансы, не так уж странно, что «нелогичность» расовой теории нацистов стала Шульгину ясной, лишь когда Гитлер «начал истреблять сероглазых же» (с. 34). То есть применительно к евреям расовая теория его устраивала – так же, как большую часть эмигрантов-монархистов,

⁵ Подробную библиографию см.: *Будницкий О.В.* В.А. Маклаков – В.В. Шульгин: друзья-противники // Спор о России... С. 39.

⁶ *Соловьёв К.А.* Маклаков // Российский либерализм середины XVIII – начала XX века. Энциклопедия. М., 2010. С. 553.

⁷ *Макаров В.Г., Репников А.В., Христофоров В.С.* Василий Витальевич Шульгин: штрихи к портрету // Тюремная одиссея Василия Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключённого. М., 2010. С. 20–23, 28–34 и др.

поддерживавших Гитлера или сочувствовавших ему. Для Маклакова «живой и честный» Шульгин – исключение среди его «прежних и новых друзей», задающих тон в русской эмиграции. Но их убеждения те же, что у Шульгина, и вывод Маклакова категоричен: совместная работа с ними невозможна, ибо они «воскресли вполне ту старую идеологию старого режима, которая сначала развратила, а потом погубила Россию» (с. 221).

Шульгин, со своей стороны, усматривает во взглядах Маклакова «какую-то демократическую подоплёку». Между тем как раз в демократизме Маклакова сильно сомневался его критик эсер М. Вишняк, в 1917 г. споривший с ним о системе выборов в Учредительное собрание. Однако, как видим, Шульгину мало того, что Маклаков против «четырёххвостки», и его не прельщает эмигрантская «республиканско-демократическая» позиция Милюкова. Для Маклакова действительно не был безразличен демократизм власти. Например, поражение А.В. Колчака он объяснял тем, что его диктатура являлась деспотизмом без демократии, тогда как большевики противопоставили ему деспотизм демократический, и это стало их преимуществом в гражданской войне. Но Шульгин явно имел в виду не характер организации власти, а нечто другое.

Возможно, «демократическую подоплёку» воззрений Маклакова («отличного кадета», согласно полусерьёзной самоаттестации) проясняет его отношение к Льву Толстому. Он резко расходится в его оценке с Шульгиным, который считал Толстого разрушителем и чуть ли не большевиком, приписывая ему равнодушие к злу и пассивность. Маклакову, напротив, было близко в Толстом гуманистическое начало и стремление привнести его в действия государственных институтов. По словам Н.В. Вольского, В.А. Маклаков ещё в 1912 г. именно влиянием Толстого объяснял моральный пафос своей знаменитой речи против военно-полевых судов во II Государственной думе. Шульгин, кстати, видел в ней лишь апелляцию к нормам права, непригодным в условиях военных действий между правительством и революционерами. Маклаков утверждал также, что Толстой внушил ему ненависть к войне и «более чем отрицательное отношение к революциям» – все эти идеи вошли в его мировоззрение, ими он стремится руководствоваться в общественной и политической деятельности, хотя Толстой и не сделал его «святым»⁸. Не потому ли после опыта 1917 г. и исчезновения веры в «чудеса» – в победу белых армий, Кронштадта и т.п., Маклаков отрицательно относился к перспективе новой полосы анархии в России, в том случае, если падёт «большевизм со всем аппаратом», о чём мечтал Шульгин?

Масса эмигрантов, находясь в ожидании перемен на родине и возможности возвращения, воспринимала происходившее и происходящее так же, как Шульгин, в основном эмоционально, а не как Маклаков – исторично и многомерно; лишь немногие размышляли над обоснованием закономерности того, что свершилось в 1917 г., но было «заготовлено веками» (с. 106, 175–176). Как у всех эмигрантских деятелей, исходный пункт рассуждений и расхождений Маклакова и Шульгина – отношение к дореволюционной России, поиск причин революционной катастрофы. Письма Маклакова отразили формирование известной его концепции. Так, он пишет о пагубном расколе образованного меньшинства («просвещённой олигархии»), переставшего сознавать своё единство и общее привилегированное положение и «передравшегося» между собой.

⁸ *Адамович Г. Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. Париж, 1959. С. 98–99.*

Но существовала ли в российском обществе начала XX в. пусть несознаваемая, но объективная общность всех «образованных», скажем, сановников и народных учителей? Есть ли основания говорить об этом пёстром по составу меньшинстве как о некоей олигархии, которая правила «громадной, дикой и необразованной массой», остававшейся чуждой всем приобретениям культуры? Ведь сам же Маклаков констатировал нежелание тех элементов образованного меньшинства, кто реально правил (элиты, высшей бюрократии), отказаться от монополии на власть. Ответственность за революцию, конечно, лежала и на общественности, и на династии, но вина династии больше, поскольку «власть разошлась со страной». Эта неоднократно высказанная Маклаковым и не только им бесспорная мысль (не всегда воспринимаемая в обстановке современного внеисторического пиетета перед монархией) раскрывается в письмах конкретно и убедительно, с указанием на аналогичные процессы, приведшие к краху Римскую империю и греческие республики, и не только. Для Маклакова очевидно, что в XX в. «исторически сложившийся режим», даже после 1905 г., был уже анахронизмом (с. 216–217, 219, 247–248).

В числе «коренных грехов» этого режима он отмечал и «небрежение к национальному вопросу». Шульгин с его «мономанией» был явно не прав, обвиняя своего корреспондента в непонимании значения национального вопроса в старой России. Маклаков предсказывал: в новой России «за национальностями будут ухаживать, а не будут с ними бороться», как прежде. И хотя в действительной советской политике, как известно, имело место и другое, но провозглашалось именно то, что в 1925 г. считал неизбежным и необходимым для укрепления государства либерал Маклаков, и в чём пытался чуть раньше убедить своих преемников вождь большевиков, диктуя текст «К вопросу о национальностях и об автономизации» (Маклакову, разумеется, неведомый).

«Вообще мы ничего не предвидели, и в этом наше горе», – пишет Шульгин, как будто соглашаясь с Маклаковым. Однако степень самокритичности и критичности по отношению к прошлому у корреспондентов неодинакова. Шульгин также не шадит старую власть, но если Маклаков считал ошибочным политический курс своей партии, то Шульгин не находил в деятельности дореволюционных правомонархических партий ничего ошибочного. Его нисколько не коробит, когда Маклаков сравнивает Союз русского народа с фашистами. Больше того, Шульгин рассчитывает на воскрешение этой организации в России, памятуя о её недолгой массовости и буквально повторяя расхожие пропагандистские штампы черносотенцев. Так, он пишет о «захвате» евреями всей русской печати – за исключением, разумеется, «Киевлянина». Даже «Новое время» А.С. Суворина не вполне его удовлетворяло, а сытинское «Русское слово», утверждал Василий Витальевич, и вовсе находилось в «иудейском пленении», поскольку не освещало еврейский вопрос как главную угрозу России (с. 236–237)⁹.

Прогнозы и рецепты Шульгина состояли, по его же словам, из того, что хотелось бы, и из представлений о возможном развитии событий, в результате которых Россия непременно «побелеет». Маклакову же (как и его единомышленнику Б.А. Бахметеву) было ясно: вопрос о монархии относится к числу тех, которые в советской России «пафоса не возбуждают», народ легко отвернулся от царя, и надеяться, что он захочет реставрации – опасная иллюзия, так как

⁹ До революции малочитаемая черносотенная печать требовала запретить самое распространённое в стране «Русское слово».

для этого нет предпосылок. Подъём монархических и религиозных чувств в СССР в 1920-е гг. существовал только в воображении «монархической партии»¹⁰. Не менее иллюзорной была уверенность Шульгина в способности двухмиллионной эмиграции объединиться («держаться Врангеля до судорог») и выдвинуть «новых варягов», которых затем призовут из России. Очевидно, конфуз с мнимо-монархическим «Трестом», покончивший с политическими амбициями Шульгина, стал следствием его отрыва от реальности в той же мере, как и усилий ОГПУ.

Пожалуй, самое любопытное, если не самое важное, в переписке то, как представляли эмигранты разных толков желаемую трансформацию власти большевиков. Шульгин утверждал, что уже происходят «роды самодержца», который будет одновременно красным и белым, а Ленин является «орудием Белой мысли». Как и Маклаков, он видел в нэпе свидетельство того, что большевики сдают экономические позиции. Как и ненавидимые ему евразийцы, Шульгин писал о движении России к православной идеократии. Разделял он и всеобщий благожелательно-завистливый интерес эмигрантов-монархистов к диктатурам Муссолини и Хорти, полагая, что подобная диктатура в России безусловно предпочтительнее «еврейского фашизма» большевиков.

Маклаков же считал, что на стороне большевиков «историческая правда», а за социализмом – вечной идеей справедливости – будущее (с. 120). По его мнению, к победе «здорового начала над нездоровым и глупым» может привести борьба внутри большевизма, но не вмешательство эмиграции. Он ошибся, уповав, что «глупый большевистский деспотизм» вскоре устранят сами большевики, демократизировав режим. Но он же пошёл гораздо дальше своих современников, проницательно допуская, наряду с другими сценариями, и такой вариант эволюции коммунистического режима, при котором он «из красного станет белым, будет насаждать не коммуну, а крепостничество, но останется большевизмом, т.е. откровенным якобинством». И тогда со временем «мы в России непременно вступим в расцвет капиталистического строя и соответствующей ему буржуазной морали» (с. 109).

...Не приходится требовать от эмигрантов «провидческой» точности во всём, в том числе относительно собственного будущего. Участники переписки не могли предвидеть тот поворот событий, который навсегда прервёт их общение. В первое десятилетие изгнания Маклаков, трезво сознавая, что у эмигрантов мало источников информации, позволяющих делать надёжные предсказания, поделился с Шульгиным мечтой войти в сношения с большевиками. Он допускал, что среди них есть люди незаурядные и неравнодушные к тому, что делается с Россией. Но – исторический парадокс – такая возможность (только без права свободно выбирать «собеседников») выпала на долю вовсе не хотевшего этого Шульгина, арестованного в 1944 г. в Югославии.

Сергей Листиков: Оглядываясь назад – с мыслью о будущем

Публикация переписки двух видных представителей русской политической элиты первых десятилетий XX в. – В.А. Маклакова и В.В. Шульгина – продолжает ту плодотворную работу, которая была начата О.В. Будницким с из-

¹⁰ См.: Павел Дмитриевич Долгоруков (1866–1927) // Репрессированная интеллигенция 1917–1934 гг. М., 2010. С. 249–250.

дания трёхтомной переписки того же В.А. Маклакова с послом в Вашингтоне Б.А. Бахметевым¹¹. Во вводной статье вдумчивый анализ ключевых аспектов полемики главных героев дополняется сочным рассказом об их жизненном пути и перипетиях личных отношений.

Без понимания взаимного притяжения Маклакова и Шульгина не постичь той откровенности, с которой они обсуждают самые острые вопросы. Если между Маклаковым и Бахметевым установилось в своё время «душевное и умственное понимание» людей сходных общественно-политических воззрений, то Маклаков и Шульгин интересны друг другу «разномыслием», возникшим в силу различных жизненных обстоятельств (с. 85). Один – активный участник Белого движения, теряющий в этой борьбе самых близких людей; другой – не обременённый семьёй, тяготившийся предложениями даже самых высоких должностей, и, как это бывает в жизни, от этого только выигравший, отправившийся послом в Париж и не вкусивший кровавой внутренней междоусобицы. При этом один – закоренелый либерал, другой – приверженец монархических и националистических идей. «Мы думаем в совершенно разных плоскостях», – напишет Маклаков Шульгину 5 апреля 1921 г. (с. 64).

Но не только (и не столько) в силу этого переписка представляет собой образец ненавязчивого, подчёркнуто уважительного общения. «Вы имели всегда очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, а это уже очень многое», – отмечал Маклаков 21 августа 1923 г. (с. 137). В этих словах выразилось не только признание умения оппонента учитывать мнение собеседника, а нередко и корректировать собственное, но и одиночество умного человека в эмиграции, где людей много, а поговорить, по существу, не с кем. Нечто подобное, видимо, ощущал и Шульгин, писавший своему корреспонденту 13 ноября 1923 г.: «Вы объективная ценность, ибо редкость» (с. 152). Он явно дорожил общением с Маклаковым, доверяя ему самые сокровенные мысли, с уверенностью в том, что справедливость и истина «есть настоящая Ваша любовь, от которой Вы не откажетесь никогда и ни при каких условиях» (17 декабря 1929 г.) (с. 363).

Провоцируя «просвещённый ум» своего оппонента на пространные рассуждения, Шульгин, как правило, был более прям, импульсивен, поверхностен; он мог искать выхода из «большевистского тупика» на путях несбыточных. Маклаков размышлял более глубоко и хладнокровно. Однако иногда кажется, что Маклаков, оказавшийся во Франции ещё до прихода к власти в России большевиков, стал «слишком» европейцем. Его мысли о происхождении мировой войны по сути воспроизводили принятое во Франции мнение, согласно которому республика «боялась войны, искренне хотела мира», и «если бы согласились пожертвовать Сербией, то французы только облегчённо вздохнули» (с. 73–74). Эта версия не может не вызвать сомнений у тех, кто сегодня осведомлён о хитросплетениях политики «больших европейских кабинетов» и в предвоенные годы, и в период июльского кризиса 1914 г. И возникает вопрос, насколько адекватно Маклаков их оценивал. Не менее странным представляется и его заявление о том, что заключение «большевистской кликой» сепаратного Брестского мира в марте 1918 г. не вызвало у французов общего негодования. 5 апреля 1921 г. Маклаков убеждал Шульгина, будто для французов, «когда гибла Россия, было естественно, что она захотела спасти себя связью с Германией, бросив Францию на произвол судьбы» (с. 74). Между тем французская политическая элита была настроена иначе – не случайно премьер Ж. Клемансо категорически не

¹¹ «Совершенно лично и доверительно!»...

желал видеть представителей «предательницы» России (пускай даже Белой) за столом переговоров на Версальской мирной конференции 1919 г. Впрочем, следует учесть, что Маклаков решал прежде всего прагматическую задачу: объяснить русским эмигрантам, почему фразы «мы за вас сражались, за вас кровь проливали» не вызовут у французов ничего, кроме отторжения. Он напоминал о необходимости учитывать «национальный эгоизм»: «Как каждый европеец рассчитывает на себя, заботится о себе, ничего не делая для других, но зато ничего не требуя от других в момент крушения, так и европейские государства понимают, что они получают только то, что сами сумеют отстоять» (с. 74–75). Расположить Францию в пользу России, по мнению Маклакова, могло лишь убеждение в том, что от её возрождения как единой сильной державы зависит будущая безопасность самих французов в случае возможного германского реванша.

В то же время 15 апреля 1921 г. в письме к Бахметеву, переданном затем Шульгину, Маклаков размышлял о том, насколько радикально в демократических государствах война изменила психологию сражавшихся наций. Успешное решение грандиозной внешнеполитической задачи потребовало невиданного ранее национального сплочения и «страшного усиления» государственной власти, что «неизбежно должно было совпадать и с демократизацией этой власти». Вследствие этого невозможно уже было допустить, чтобы от войны, которая «есть общее несчастье», «без различий классов и положений», одни люди страдали, а другие наживались¹². Как писал Маклаков Шульгину 23 февраля 1923 г., осознав после войны, что «злоба обездоленных людей на нескольких счастливых» несёт реальную опасность основам общества, правящие круги придали государству новую функцию, дабы «принудительно воплотить общественную справедливость». Развивая эту мысль, Маклаков, особых симпатий к социализму не питавший, признавал, что «сам по себе социализм не только не зло, но включает большую и, вероятно, практически в будущем осуществимую идею» – «за ним есть будущее, ибо в основе его вечная идея, потребность общежития» (с. 120). В целом ему представлялось, что стратегическое направление развития западных демократий – реформистская тропа, учёт социальных и иных потребностей разных групп населения.

Трагедию России он видел в том, что мировая война свернула её с той столбовой дороги, которую избрали западные страны. Маклаков полагал, что революционный период 1905–1917 гг. готовился глубинными, скрытыми, стихийными процессами, происходившими в русском обществе, и в нём было «что-то совершенно фатальное, заготовленное веками» (с. 106). Василия Алексеевича, как и его корреспондента, волновала проблема «кризиса верхов», ставшего, по словам Шульгина, результатом «вырождения физического и душевного классов, предназначенных для власти» (с. 210–211). Война и революция выявили это со всей определённой. Причём речь шла и о правительстве, и об оппозиции, и даже об Императорской фамилии, которая «не обнаружила мужества при отречении».

Маклаков был «солидарен» с тезисом о вырождении династии. Но он старался заглянуть глубже, раскрыть «историю политического процесса», приведшего к столь катастрофическим последствиям. Ему хотелось объяснить механизм функционирования и падения государственного строя, показать причины раскола той «просвещённой олигархии» (дворянство, новая буржуазия, интел-

¹² Там же. Т. 1. С. 337–354.

лигенция), которая составляла его социальную опору. Отстаивая «монополию на власть», режим в предреволюционные десятилетия существовал по своим законам, привлекая к себе тех, кто готов был играть по его правилам – людей, которые «искусственно подбирались и развращались», спекулянтов и карьеристов. Сильные и честные люди, «чтобы не участвовать в этой нелепости», отходили в сторону, попадали в «вечную» оппозицию, поскольку к власти их не подпускали, отгоняя в разряд «никудашников, завистников и критиков». В результате, эта оппозиция утрачивала чувство принадлежности к привилегированному классу. Она всё чаще апеллировала к народу, завоёвывая у него популярность обличением начальства, но не имела навыков государственного управления. В критический момент революции 1917 г., когда власть «упала» в руки либеральным силам – очень не во время и для них, и для страны – они не смогли ею распорядиться и обуздать ту выплеснувшуюся на улицу стихию, которую сами же они во многом и вызвали (с. 216–220, 246–247). «Мы испортили такую хорошую машину», – напишет Маклаков 27 ноября 1924 г., видимо, не только размышляя о роли оппозиционеров, но и характеризуя пережитый Россией хаос и возникшую из него кровавую «красную» диктатуру (с. 207–208).

Впрочем, Маклаков видел «провинность» «просвещённого класса» и в том, что он не смог подготовить народ к участию в процессе политической эволюции, не сумел, постепенно обогащаясь за счёт «культурных элементов масс», привлечь их к управлению страной. Революционеры, «люди дела», лишь воспользовались ситуацией, когда вся эта «необразованная и дикая масса людей», ранее никак не влиявшая на судьбы большой политики, выступила на сцену. В дискуссии о русской революции и Маклаков, и Шульгин очень далеки от идеализации как народной массы, так и других социальных групп российского общества. Отмеченные в переписке национальные черты – небрежность, неточность, недобросовестность («кое-какство»), озлобленность, утопизм, – вообще заставляют усомниться в том, следует ли именовать Шульгина «националистом». Маклаков также убеждён в том, что Россию погубила внутренняя слабость: «Война потребовала от России такого напряжения сил, которого, при её кое-какском устройстве и кое-какских привычках, она дать не могла» (с. 247–248).

Эта же внутренняя слабость была присуща Белому движению и погубила его. На это Маклаков указывал Б.А. Бахметеву 15 апреля 1921 г.: «Мы инстинктом поняли, что борьба либералов с большевиками сводится к разложению власти в тот момент, когда её нужно усиливать, и попробовали идти другим путём, путём противопоставления большевистскому деспотизму белого деспотизма» (с. 116)¹³. Однако в дальнейшем соединение его с «политическими свободами соединяло только недостатки этих направлений, не давая им выгоды. Это и создавало ту их внутреннюю слабость, при которой большевизм не мог их не победить». К тому же лишь немногие участники Белого дела посвятили себя ему полностью. Маклаков констатировал, что «чудеса» избавления России выросшими из самопожертвования народного «Миниными» «делаются верой, а веры больше нет» (с. 65–66). Кроме того, лидеры Белого движения утратили поддержку западных держав, вольно или невольно их обманывая: они неоднократно возбуждали надежды на успех, а затем терпели поражения. «Последней каплей» стало падение Крыма, о неприступности которого заявлял П.Н. Врангель. И всё же в горьких словах Маклакова была только часть правды. Ведь союзни-

¹³ Там же.

ки «русской политикой» решали свои прагматические задачи, серьёзно вкладываясь в спасение России они не собирались. Более того, оказывая белым весьма дозированную материальную помощь, они одновременно в собственных целях, для ослабления будущей России, заигрывали с национальными силами на её окраинах. Так, по словам Шульгина, в начале 1919 г. французы «влезли в глупейшую комбинацию с украинцами,.. которая восстановила против них русские круги» (с. 43).

После поражения Врангеля Шульгин и Маклаков уже не рассчитывали на интервенцию. Тем не менее Шульгин по-прежнему видел в бароне подлинного вождя, высказывался в пользу создания эмигрантского правительства, уповал на сохранение русской армии за рубежом. Ему казалось, что «процесс жестокого прессования», которому подвергаются русские в Белой (эмигрантской) и Красной России, сможет породить фалангу людей необычайно закалённых, и они, подобно легендарным варягам, явятся спасти отечество (с. 55–57).

Маклаков, смотревший на вещи весьма реалистично, решительно отвергал подобные ожидания. В попытках возродить «Белую мечту» он не усматривал ничего, кроме «новой фальши», не верил в возможность сохранить ушедшую «за кордон» армию, а Врангеля считал, с политической точки зрения, «человеком конченным». Надежды на эмиграцию казались Маклакову пустыми, её политики напоминали ему «кунсткамеру... государственных дарований и заслуг». Лицо эмиграции, по мнению Василия Алексеевича, определялось двумя типами людей. Одни заранее предчувствовали революцию, успели сбежать до неё и увести капиталы, теперь они сорили деньгами, вызывая у местной публики противоречивые чувства: «Конечно, этих людей всюду принимают, за ними ухаживают, но за спиной все про них же злословят и возмущаются их отсутствием такта» (звучит уж как-то совсем современно, «по-новорусски»). Другая разновидность эмигрантов – люди, не способные смириться с потерей отечества, где-то пытающиеся, где-то – не желающие найти себя в новом для них западном обществе, думающие только «о себе, как прожить». В целом же эмигранты представляют собой расколотую, раздробленную, ищущую идеала в прошлом общность (с. 70, 136–137). Сыграть роль «варягов» они явно не могли. На будущее монархизма в России Маклаков смотрел скептически. Шульгин же оставался в плену надежд на появление культа «неведомого царя», не связанного с конкретной личностью. Это будет «монархизм самый здоровый», писал он Маклакову 1 февраля 1929 г., «который может собрать на себя чувства и мысли миллионов», «ибо выборы Неведомого Царя можно обставить при соответствующем настроении весьма демократически» (с. 291).

Размышления о путях освобождения России из «большевистского капкана» приводили обоих политиков к весьма пессимистическим выводам. И всё же Маклаков видел «дырку в конце туннеля», и Шульгин, сохранявший веру в «необычайную живучесть русского тела», раз за разом разочаровываясь, с ним соглашался. «Станный социализм», порождённый чрезвычайными условиями Гражданской войны и ожиданиями так и не состоявшейся мировой революции, в феврале 1925 г. представлялся Шульгину временным явлением (с. 225–239). Маклаков, со своей стороны, размышлял о том, почему бы большевистской верхушке не переродиться и самой «не изжить себя». Тем «бонапартом», который сможет обуздать революцию, по его мнению, станет простой человек, народная толща, кропотливо восстанавливающая условия мирной жизни в

России и несущая «снизу» оздоровление общества. Неизбежная потребность в восстановлении хозяйства должна была заставить «большевиков увидеть, что идти прежней дорогой невозможно, что надо идти на уступки и, конечно, по линии наименьшего сопротивления» (с. 66). И тогда партийной верхушке придётся развивать контакты с Западом (концессии и т.п.), привнося в жизнь огромной страны западные стандарты жизни, юридические нормы. Вместе с тем будет меняться и сама партия, власть в которой перейдёт к более умеренным вождям.

Но это перерождение, в ходе которого «большевизм исцелит большевизм», а «красное превратится в белое», по мнению Маклакова, могло оказаться страшно трудным и медленным. Страну могло ожидать временное «засилье иностранцев». «Всё это грозит периодом, – делился он своими опасениями с Шульгиным 5 апреля 1921 г., – когда в России не будет большевизма в настоящем смысле этого слова, когда будут уважать собственность, будут торговать, будут благополучия буржуазного строя, но будет всё-таки нечто вроде *Dette Ottomane*, режима капитуляций и других прелестей этого сорта» (с. 65). Такой сценарий развития событий казался Маклакову тогда «наиболее правдоподобным». Объективному наблюдателю происходившего в России на протяжении последних десятилетий трудно не заподозрить русского политика в прозорливости – на десятилетия вперёд...

Очень остро звучала на страницах переписки национальная проблема. Так, «еврейскому вопросу» Шульгин придавал явно гипертрофированное значение в трагедии России в период революций и Гражданской войны. Маклаков, решительно критикуя охватившую Шульгина «мономанию», утверждал, что он направил свою мысль «в переулочек, который кончается тупиком». В свою очередь Василий Алексеевич размышлял о пагубной роли в судьбах страны самоубийственного непонимания имперской властью всей сложности национальных проблем, включая и «еврейский вопрос», а также неадекватности подходов к их решению. Именно в «еврейском вопросе» дистанция между корреспондентами была особенно велика. И всё же вывод О.В. Будницкого о том, что «мономания» Шульгина в 1930-х гг. привела его к «одобрению расовой политики нацистов» (с. 34), звучит слишком категорично. Последнее письмо Шульгина, написанное 12 января 1939 г., как раз свидетельствовало о начале «мозговой ломки», о появлении сомнений при виде нечеловеческих форм, в которых воплощались, на первый взгляд, близкие ему идеи в гитлеровской Германии. Он постепенно осознавал, что события катятся к страшному истреблению миллионов ни в чём не повинных людей, и запущенный маховик кровавых убийств будет трудно, а то и вовсе невозможно, остановить. Шульгин слышит голоса «других» – оппонентов, вспоминающих времена «Русской Правды», когда цена крови определялась гривнами, и вопрошающих: «Ужели мы будем жесточе средневековствующих?». Он видит и признаёт, «что широкий мир ощущает происходящее как “перекручивание”, и потому число существ, готовых броситься на философа (т.е. Гитлера. – С.В.) растёт и множится» (с. 423–424).

И Маклаков, и Шульгин вполне обоснованно полагали, что «национальный вопрос» и адекватность подходов к его решению станут судьбоносными для будущего России. Оба они с беспокойством наблюдали за напористой, упорной работой «сепаратистов», как называл их Маклаков, или «украинцев» (по словам Шульгина), стремившихся доказать Европе наличие «несуществующей “нации” украинской» (с. 261). Эту опасную для будущей целостности

России тенденцию ещё удавалось сдерживать, но оба корреспондента были убеждены в необходимости противопоставить ей «тех украинцев, которые продолжают считать себя русскими» (Шульгин называл их «малороссы») (с. 327–328, 341–343). «Весь украинский вопрос, – предрекал Маклаков 14 июня 1929 г., – всё-таки когда-нибудь станет на очередь, при этом встанет во всей широте» (с. 351). «Ибо если есть 30-миллионный украинский народ, то желание такового быть самостоятельной державой столь же обоснованно, как государственная независимость почти всех европейских народов, из которых только немногие более многочисленны», – отмечал 9 августа 1929 г. Шульгин, обдумывавший возможные последствия самого неблагоприятного, с его точки зрения, развития «борьбы партий в национальном украинском движении» (с. 354). А вот и другая мысль Маклакова, подытожившего опыт «национального строительства» и предсказавшего 5 марта 1925 г.: «Будет ли Россия федерацией или централистским государством... за национальностями будут ухаживать, а не будут с ними бороться» (с. 249).

В грозные годы перед новой мировой войной предчувствие её неизбежности охватило многих. Маклаков и Шульгин не были исключением, хотя, оценивая события по горячим следам, они сочетали реализм с надуманными схемами. Аншлюс Германией Австрии Шульгин одобрял, а Маклаков воспринимал «как законное явление» и реализацию австрийцами того «права на самоопределение», которое союзники и США в годы мировой войны декларировали, но осуществили далеко не для всех. И в то же время у Маклакова возникла верная мысль о том, что Германия берёт реванш и воздаёт вчерашним победителям за унижение Версаля (с. 419–420). Корреспондентов одолевало предчувствие неминуемого столкновения Германии и СССР. При этом Шульгин рассматривал как один из вариантов возможность создания на отторгнутых южных территориях по воле гитлеровских правителей некоего «Великого княжества Русского», откуда якобы может пойти в будущем «освобождение» России. Но уже тогда у многих в рядах русской эмиграции это вызвало протест (О.В. Будницкий приводит мнение М.В. Вишняка, с. 420–421). А вот сделанный Маклаковым 6 сентября 1938 г. прогноз относительно долговременной перспективы развития Европы после «нескольких мировых катастроф», которых «мы с Вами уже не увидим», оказался по-своему реалистичен. В силу новых вызовов, в условиях, когда человечество придумало страшные силы разрушения, Старому Свету, полагал он, придётся искать, «чтобы избежать взаимного истребления, какое-то объединение в более крупную единицу, под новой крупной властью»: «Всё-таки будут европейские штаты; в этих условиях роль национальности, языка и многого другого низведена будет до минимума» (с. 420).

Варясь в соку крупнейших событий общественно-политической жизни и анализируя их, ощущая их нерв, значимость, направленность, и Шульгин, и Маклаков выработали в себе привычку смотреть в будущее, стремясь определить «конечный продукт» процесса. И хотя выводы их могли быть весьма спорными, ценность опубликованной переписки состоит и в том, что она даёт волю интерпретациям. В ней каждый может найти «своего» Шульгина и «своего» Маклакова, ищущих ответы на сложнейшие вопросы, с которыми Россия столкнулась не только в первой половине XX в., но и в наши дни.

Александр Котов: «Скромненький дневник Адама»

*«Если бы сейчас нашли самый скромненький дневник
Адама или просто книжечку для записывания расходов Евы,
то это был бы ценнейший документ»*

В.В. Шульгин – В.А. Маклакову, 29 июня 1922 г.

Последние несколько лет ознаменовались новым всплеском интереса к наследию В.В. Шульгина. Отчасти «виновны» в этом исследователи и публикаторы архивных материалов. Однако подобный расцвет шульгиноведения, вероятно, имеет и более глубокие причины. Парадоксальным образом он совпадает с некоторым снижением общественного интереса к идеологии политического консерватизма. К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин и прочие классики этого направления во многом утратили то обаяние новизны, что привлекало к ним читателя 1990-х гг. Да и запрос общества на «государственническую» идеологию в общем и целом оказался удовлетворён. Думającego читателя 2010-х гг. «правда вопросов» волнует больше, чем «правда» готовых ответов.

Популярность Шульгина связана также со спецификой его таланта: таланта художника-реалиста, чуткого наблюдателя и рыцарственного собеседника. Поэтому-то столь неудачными оказались попытки некоторых исследователей изучать и систематизировать его взгляды отдельно от биографии. Тем более, сам Василий Витальевич признавал, что его национализм, собственно, и не является рациональной идеологической системой: «В националистическом мире не философствуют слишком глубоко. Существует несколько истин, которые признаются за незыблемые»¹⁴. Недостаток холодной рассудочности характерен не только для текстов нашего героя. В предисловии к обсуждаемой книге О.В. Будницкий отмечает, что «Шульгин в своих оценках происходивших событий шёл скорее от эмоций, нежели от логики»: «Прославившийся в Думе своим хладнокровием..., Шульгин вовсе не выглядит таким ни в письмах, ни в текстах. Ни в жизни... В Россию на поиски сына он отправился после того, как поговорил с гадалкой..., логика в этом случае ему совершенно отказала» (с. 16–17). Впрочем, свойственный Василию Витальевичу «разум сердца» удерживал его от многих соблазнов эпохи – например, от бытового и идеологического «восточничества».

Напрашивается сравнение Шульгина с правым публицистом предыдущей эпохи – генералом А.А. Киреевым. Лучший и самый известный портрет последнего дал в своё время Л.А. Тихомиров: «Для того, чтобы выработать А.А. Киреева, нужно иметь старорусского дворянина, пропустить его через стремления декабристов, через школу императора Николая I, через мечтания славянофильства и через освободительные порывы реформ Александра II. Ни одного из этих составных элементов нельзя отбросить для получения того своеобразного, но рыцарски благородного типа, который представлял он и отражения которого давали жизнеспособность старой императорской России... В умственном отношении он был просто средний, неглупый человек, но и тут – вследствие отсутствия каких бы то ни было личных интересов, часто извращающих суждение даже высоко проницательных людей, – Киреев нередко

¹⁴ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...»: Об антисемитизме в России. М., 1994. С. 72.

оценивал людей и события гораздо вернее, нежели люди, превосходящие его умом»¹⁵.

Кирееву, считавшему национализм одним из путей к «облагораживанию политических идеалов»¹⁶, очевидно, пришлось бы по вкусу следующее высказывание Шульгина: «Я хочу несколько вытащить из грязи бедную рыцарскую честь (или просто честность, порядочность), из грязи, в которую загнал эти понятия “неистовый национализм”... И между двумя голосами, голосом Божественным, который говорит через совесть, и голосом человеческим, которым грохочет государство или народ, в случае конфликта между ними голосами, нельзя отдавать предпочтение голосу человеческому»¹⁷. Политические взгляды Киреева тесно связаны с другим направлением его деятельности: генерал был специалистом по теории и практике дуэли. По словам Тихомирова, «необходимость дуэли он всегда отстаивал принципиально, считая её очень важным способом развития у людей чувства *чести*»¹⁸. Это донкихотство генерал проецировал и на публицистику. Так, отмечая в дневнике за 1896 г., что «новый главноуправляющий по делам печати собирается “подтягивать”», Александр Алексеевич возмущался: «Не во сто ли раз лучше бороться на поле мысли?! Вот прочту о византинизме Соловьёва и разобью его. Нет, *мысль* можно разбить только *мыслью*»¹⁹.

Очевидно, последнюю фразу в качестве девиза мог начертать на своём воображаемом щите и «рыцарь монархии Шульгин». Однако, в отличие от аристократического национализма Киреева, порождённого только имперским Петербургом и славянофильской Москвой, шульгинский «национал-гуманизм» включал в себя ещё и третий компонент – «киевский». «Мы, южане, из всех русских самые русские», – с гордостью отмечал Василий Витальевич (с. 233). Возможно, именно элемент здорового малороссийского провинциализма придал Шульгину ту нравственную и физическую живучесть, что так восхищала даже его противников. Принадлежность к «русскому югу», веками бывшему ареной русско-польского противостояния, обостряла и национальные чувства. В этом отношении уместно сравнить Шульгина с другим его и А.А. Киреева единомышленником – П.А. Кулаковским. С ним Шульгина роднили антисемитизм и склонность к политическому практицизму. В своей переписке и публицистике этот «западнорусс»²⁰ предстаёт даже более радикальным, чем Василий Витальевич: Кулаковскому не всегда хватало осознания того, что именно «Петербург поле под вишнёвыми садочками Полтавы превратил в ристалище, где разыгрался первый, со времён Владимира Мономаха, общерусский триумф»²¹.

И здесь мы подходим к главному «секрету» Шульгина: в отличие от прочей политической публицистики XIX–XX вв., его тексты не разделяют, а объединяют. Рыцарское отношение к словам и людям даёт ему возможность наладить диалог даже в таком болезненном для националистов вопросе, как еврейский. Стремление же сочетать «московское», «петербургское» и «киевское» начала делает шульгинскую публицистику своего рода связующим звеном между рас-

¹⁵ Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспоминания. М., 2000. С. 654, 660.

¹⁶ Киреев А.А. Народная политика как основа порядка (Ответ г. Леонтьеву). СПб., 1889. С. 28.

¹⁷ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...»... С. 180.

¹⁸ Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 656.

¹⁹ ОР РГБ, ф. 126, д. 12, л. 67.

²⁰ ИРЛИ, ф. 572, д. 50, л. 2.

²¹ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...»... С. 144–145.

павшимися периодами отечественной истории. Благодаря всему этому в споре о судьбах России романтик, мистик и монархист Шульгин оказывается отнюдь не в роли консерватора: «Вы можете считать это своего рода истерией, но всё же я должен сказать, что никогда не был убеждён, что Россия займёт подобающее ей место, как сейчас..., – писал он В.А. Маклакову 24 февраля (9 марта) 1921 г. – Убеждение в необычайной живучести русского тела, убеждение в том, что процесс жестокого прессования, которому одинаково подвергнуты русские и Белой, и Красной России – даст в итоге фалангу людей, необычайно закалённых, т.е. именно то, чего нам недоставало» (с. 55).

Роль скептика-консерватора в этой полемике досталась либералу В.А. Маклакову – и надо сказать, он с ней блестяще справился. Способствовали этому не только острота ума и умение не заикливаться на своей партийности («Общество хорошенькой женщины он частенько предпочитал компании своих товарищей по ЦК», – сообщает О.В. Будницкий (с. 14)). Консерватизм Маклакова связан с непопулярностью либерализма в годы всеевропейского тяготения к строевому шагу и факельным шествиям: «Я остаюсь в одиночестве, – признавался он Шульгину в декабре 1923 г., – при некоторых правовых и идейных принципах, теперь уже очень старомодных и лишённых всякой активной силы» (с. 160). Таким образом мышление Маклакова приобретало то качество, которое нередко приписывают консерваторам XIX в. Наиболее удачно его описал А.А. Тесля: «Освобождающий мышление опыт безнадежности – пожалуй, наиболее ценное, что может дать консерватизм как интеллектуальная позиция, и в своей осознанной практической бесполезности консерватизм оказывается наиболее близок истинной философии, по слову Аристотеля – консерватизм свободен от надежды на воплощение и тем самым получает возможность узреть то, что есть перед ним как данность»²².

Как в своё время К.П. Победоносцеву, будущая Россия виделась Маклакову весной 1921 г. «ледяной пустыней»: «Если Россия будет спасена стихийным процессом, это будет ужасно; стихийный процесс поведёт нас ужасной дорогой и приведёт к ужасающим результатам. Во-первых, он будет страшно медленным; большевики погибнут, но погибнут последними; раньше этого погибнут остатки нас и всё то, что было интеллигентного и инициативного в массе» (с. 65). Повторяет Маклаков и банальную для того времени мысль о возможной «преемственности между Россией большевистской и Россией будущей, как была преемственность между революцией и Бонапартом» (с. 66), только осмысляет он эту проблему глубже и трагичнее, чем современные ему евразийцы и сменовеховцы.

До революции правые жили надеждой на «консервативно-революционный» выход из революционного тупика. Так, в ноябре 1905 г. Л.А. Тихомиров писал А.С. Суворину: «Социально-политические карты ещё только раскладываются... Деятельность же настоящая, с настоящими национальными людьми станет возможна именно тогда, когда все карты разложатся. А до тех пор всё будет одна смута. Вы вспомните о 1612 году. Скажите, где был Минин 5–6 лет до 1612 года? Ведь он жил, мыслил. Но в деле его не было. Почему? Социально-политические средства и язвы нации ещё не раскрылись вполне. Для таких людей ещё не было возможности явиться. Они не имели ещё вдохновения. У них вдохновение является только тогда, когда содержание нации всё раскры-

²² Тесля А.А. О русском консерватизме как о бездомности. URL: <http://www.peremeny.ru/blog/12286>

ется, и историческому человеку явится возможность почуять центральный узел и лозунг»²³. Как бы отвечая на это, Маклаков напишет в 1921 г.: «Мы все жили в ожидании чуда. Нам мерещился какой-то Минин, который в известный момент соберёт за собой русских людей и пойдёт выгонять воров и иностранцев... Но чудес не бывает или, по крайней мере, больше не бывает, потому что всякое чудо делается верой, а веры больше нет» (с. 65–66).

В сущности, в мыслях обоих корреспондентов нет ничего незнакомого как тогдашнему, так и современному политизированному читателю. Вполне типичны для той эпохи сожаления В.В. Шульгина об отсутствии «в нашей русской действительности лица, подобного итальянскому Муссолини» (с. 211), точно так же, как и его идеи «килевой партии», соединяющей «белую мудрость и красное дерзание» (с. 100). Не слишком оригинальны и рассуждения В.А. Маклакова о предреволюционном «искусственном отборе людей власти»: «К ней шли только те, кто усваивал эту программу борьбы с народом, считая самоценностью сосредоточение всей власти в руках правительственного аппарата» (с. 218). Действительно ценным в этой переписке являются опыт диалога – даже не межпартийного, а надпартийного, а также опыт поиска и обретения общей почвы: необходимости защищать от «новых варваров» (в частности, от модных тогда евразийцев) «единую и неделимую “Пушкинскую” культуру, созданную тысячелетними усилиями всех русских племён» (с. 261).

Александр Пученков: Пережившие революции

В.В. Шульгин – человек со сложной биографией, воистину удивительной судьбой и подлинно неисчерпаемым творческим наследием. Он вёл обширную личную и деловую переписку, писал и надиктовывал секретарям или хорошеньким секретаршам передовые статьи и воспоминания, в числе его многочисленных корреспондентов были едва ли не все наиболее видные фигуры, отстаивавшие несоветский путь развития России. Вряд ли в обозримом будущем удастся опубликовать весь корпус сочинений Шульгина, отложившихся в архивохранилищах разных городов и стран. Тем интереснее и важнее труд О.В. Будницкого, скрупулёзно собравшего и тщательно прокомментировавшего переписку двух Василиев – Шульгина и Маклакова – политиков, представлявших разные фланги дореволюционной Государственной думы.

Будницкому удалось собрать переписку двух политиков за 20 лет (1919–1939 гг.). Шульгин и Маклаков обменивались мнениями по самым разным вопросам: Белое движение и природа большевизма, еврейский вопрос, украинский сепаратизм, поиски эмигрантами тактики и формы борьбы с большевиками и т.д. Естественно, что «сквозным действием» бесед корреспондентов друг с другом (а их переписка обладала той особой степенью доверительности, которая напоминала именно беседу, а не бесстрастные деловые письма) была тема Русской революции и её последствий для России... Особый интерес вызывают характеристики Шульгиным и Маклаковым фигур ещё более заметных, чем они – П.Н. Милюкова, П.Н. Врангеля, А.И. Деникина... Статус корреспондентов, их осведомлённость по поводу самых разных вопросов политической жизни России и Русского зарубежья – делают их переписку по-настоящему кладзем информации для историков.

²³ РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, д. 4234, л. 36.

Безусловно, притчей во языцех стало противоречивое отношение Шульгина к «бесконечному», по его словам, еврейскому вопросу (с. 252). Антисемитизм Шульгина вызывал и вызывает у либеральных кругов глубокое порицание. В частности, лидер русского либерализма Милуков писал о том, что Шульгин – человек, «помешавшийся на еврейском вопросе»²⁴. По словам Будницкого, он «был одним из самых известных и, вероятно, самым литературно одарённым российским антисемитом XX в.» (с. 25). Однако, думается, что отношение Шульгина к еврейству варьировалось в зависимости от того, насколько лояльно, по его мнению, евреи относились к русской власти. Выступая на заседании комиссии по военным и морским делам IV Государственной думы, Шульгин заявлял: «Во время японской войны еврейство выступило определённо в революционной плоскости. Во время войны и мы говорили: прочь руки – вы заплатите за это страшно, какими вы поведёте себя во время войны, так поймёт вас русское общество. Они нам не поверили. Совершенно другое дело теперь. Руководящее еврейство в самом начале этой войны (Первой мировой. – *А.П.*), – это совершенно верно, этого отрицать нельзя – стало всеми силами работать в пользу войны, именно руководящее еврейство, то, которое вело еврейскую массу»²⁵.

Однако затем, по утверждению Василия Витальевича, «с наступлением революции 1917 года еврейская гуща вновь с головой бросилась в революцию и приняла живейшее участие как в неприличном канкане, который отплясывали “освобождённые рабы” над великим прошлым России, так и в работе большевиков»²⁶. Революцию Шульгин воспринял как «Русский погром». «Судите сами, – писал он в заметках к сценарию фильма “Дни” в августе 1963 г., – уничтожена династия; истребили дворянство; духовенство; купечество; мещанское сословие; крестьянство, под видом раскулачивания. У остальных крестьян, не кулаков, отняли землю под видом национализации. К этому надо прибавить, что разрушена армия; частично истреблена или изгнана интеллигенция. Если принять в соображение, что в подавляющем большинстве все эти слои и классы были русскими, то приходится признать, что деятельность советской власти, начавшейся в октябре 1917 [г.], нельзя называть иначе, как грандиозный русский погром»²⁷. Безусловно, всё это вызывало у него сильнейшее отторжение. «Вся русская революция оказалась простой до ужаса, – отмечал он, – срезана верхушка русской пирамиды (власти. – *А.П.*), которая, верхушка, заменена еврейской, и больше ничего»²⁸. Население России от «замены этой верхушки» отнюдь не выиграло: «1) около 5 миллионов казнено еврейской верхушкой, т.е. во много раз больше, чем было убито в течение мировой войны; 2) неизвестное число людей погибло в гражданской войне; 3) 20 или 25 миллионов умерло от голода; 4) вся хозяйственная жизнь разрушена; 5) всё население находится в самом тяжёлом, безжалостном рабстве; 6) этот ужас поддерживается непрерывно продолжающимися казнями и будет поддерживаться до самого конца еврейского владычества. Вот результат замены»²⁹. Однако Шульгин не сомневался

²⁴ Милуков П.Н. Воспоминания (1859–1917). Т. 2. М., 1990. С. 179.

²⁵ РГИА, ф. 1278, оп. 5, д. 446, л. 373–374.

²⁶ Шульгин В. «А счастье было так возможно» // Зарницы. Константинополь. 1921. № 8. С. 12.

²⁷ ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 313, л. 36–37, 43.

²⁸ Там же, д. 24, л. 23.

²⁹ Там же, л. 23 об.–24 об.

в том, что ничего советской власти «не поможет, и придёт час: уйдут»³⁰. Советский интернационализм рассматривался Шульгиным как ярко выраженное проявление еврейского национализма, а III Интернационал он характеризовал как «воинствующее жидовство»³¹. «Правильный путь для еврейства, – полагал Василий Витальевич, – был бы только один: не стремиться к власти»³².

Вместе с тем Шульгин не отрицал подготовленность России к революционному взрыву, вызревавшему десятилетиями. «Причина же катастрофы в России состояла в столкновении трёх рас, – писал он, – заболевшей русской, не сумевшей справиться со своими задачами на одной шестой части суши, деятельной германской, желавшей непременно продвинуться на восток и вытеснить ленивую и женскую славянскую расу с плодороднейшей в мире равнины, и, наконец, еврейской, созревшей к гигантскому хищному прыжку на хребет того народа, который изнемог бы в борьбе. К великому нашему несчастью таким народом оказался народ русский» (с. 239)³³. В свою очередь, В.А. Маклаков возлагал основную ответственность за крушение самодержавия на либеральное движение. «Самодержавие было обречено, – утверждал Василий Алексеевич, – оно могло выигрывать время, но спасти себя не могло. Обществу было достаточно жить и расти, чтобы получить всё, что ему было нужно, в том числе и “увенчание здания”. Но у руководителей общества не хватило терпения. Они предпочли покончить с Самодержавием коротким ударом – войной. Эту войну они провели очень умело и вышли из неё победителями. Но зато хорошего мира заключить не сумели»³⁴. Касаясь значения «еврейского вопроса» в 1917 г., Маклаков писал: «Его роль настолько второстепенная, что убеждён, что если вычеркнуть даже всех евреев, то в главных чертах революция совершилась бы точно таким же способом, как она совершилась» (с. 249).

Для Шульгина – политика, волею судьбы принявшего отречение Николая II и присутствовавшего при отказе от престола вел. кн. Михаила Александровича, трагедия Дома Романовых всегда оставалась личной трагедией³⁵. Не случайно, что в письмах к Маклакову он вновь возвращается к драматическим событиям марта 1917 г. По словам Шульгина, «мягкая женственность великого князя и вся его натура незлобивая и тихая, очень, может быть, пригодная для спокойных времён, конституционных, совершенно не соответствовала суровой беспощадности минуты той. И потому не мог родиться “подвиг силы беспримерной” под знаменем великого князя, а свершился он позже и, к сожалению, – слишком поздно» (с. 212). В то же время Василий Витальевич был доволен тем, что «объявление великого князя Михаила Александровича есть только личное мнение его величества, ни для кого кроме его особы не обязательное: ни один из остальных членов Императорской фамилии сим подобным отречением не был принуждён к отречению от своих прирождённых прав, и, наоборот даже, видимостью отречения великого князя Михаила Александровича за всю Им-

³⁰ Там же, л. 25.

³¹ Там же, л. 25–25 об., 27 об.–28.

³² Там же, л. 33 об.–34.

³³ Схожие мысли содержатся и в его дневниковых записях: *Шульгин В.В.* «Создалось положение просто дьявольское...» (Дневник февраля 1918 года). Публ. А.С. Пученкова // Русское прошлое. Историко-документальный альманах. 2010. Кн. 11. С. 98–109.

³⁴ *Маклаков В.А.* Власть и общественность на закате старой России... Ч. 1. С. 140.

³⁵ Подробнее см.: *Пученков А.С.* Величие и язвы Российской Империи. Международный научный сборник в честь 50-летия О.Р. Айрапетова. М., 2012. С. 399–410.

ператорскую фамилию все остальные члены династии сей видимостью как бы невидимо и весьма тонко прикрыты». По мнению Шульгина, «если бы последовало бы всеобщее отречение (Михаил Александрович в пользу Кирилла Владимировича и т.д. – *А.П.*), а это было бы неизбежно, в случае правильного юридического поведения великого князя Михаила Александровича, то с династией было бы покончено совсем, и реставрация хотя бы вроде и стиле Бурбонской была бы окончательно невозможна» (с. 213).

Анализируя в эмиграции события в особняке княгини Путятиной 3 марта 1917 г., Шульгин обращал особое внимание на позицию П.Н. Милокова: «Классический пример этой трагической беспомощности представлял Милоков в 1917 году во время падения монархии. Стоя во главе самой влиятельной, казалось, русской политической партии, имевшей отделы в каждом городе и городишке, он 3 марта горячо убеждал великого князя Михаила Александровича не отказываться от престола. Однако в защиту этого престола и просто для личной охраны будущего Михаила II он не мог дать ни одного человека, так-таки ни одного. Казалось бы, в такую трагическую минуту естественно было бы дать членам партии к.-д., находившимся в Петрограде, приказ: с оружием в руках сбежаться к дому № 12 на Миллионной, где решался вопрос, может ли принять престол великий князь Михаил Александрович. Но это столь естественное теперь предположение может вызвать только горькую улыбку у тех, кто ясно себе представляет, что такое была конституционно-демократическая партия. В защиту и “конституции”, и “демократии” она могла лить только слова, слова, слова, да ещё чернила, в то время, когда необходимо было лить кровь – свою и чужую. И вот мы присутствовали при вразумительном зрелище: убеждённый сединами глава первой русской политической партии Милоков самоотверженно, но жалко, метался по петербургским казармам, убеждая, упрашивая, умоляя взбунтовавшуюся солдатчину сохранить дисциплину. Мудрено ли, что при таких обстоятельствах великий князь Михаил Александрович отказался принять престол. Представим себе на минуту, что в то странное время с просьбой принять престол обратился бы к великому князю не Милоков, а глава партии, скажем, “русских фашистов”, т.е. человек, опирающийся на вооруженные когорты, готовые окружить № 12 на Миллионной несколькими десятками тысяч штыков. Вероятно, ответ великого князя был бы иной». «Мы все были 3 марта 1917 года так же бессильны, как Милоков», – прибавлял Василий Витальевич³⁶.

Присутствие при отречении двух императоров воспринималось Шульгиным как главное событие всей его жизни. Пережив русские революции 1917 г. почти на 60 лет, он с годами всё более болезненно воспринимал свою вольную или невольную сопричастность к трагической судьбе династии Романовых. «С царём и с царицей моя жизнь будет связана до последних дней моих, хотя они где-то в ином мире, а я продолжаю жить – в этом, – отмечал Шульгин на закате своих дней. – И эта связь не уменьшается с течением времени. Наоборот, она растёт с каждым годом. И сейчас, в 1966 году, эта связанность как будто достигла своего предела. Каждый человек в бывшей России, если подумает о последнем русском царе Николае II, непременно припомнит и меня, Шульгина. И обратно. Если кто знакомится со мной, то неизбежно в его уме появится тень монарха,

³⁶ Шульгин В.В. Приготовительный класс. (Ответ П.Н. Милокову) // Русская газета. Париж, 1924. 22 августа.

который вручил мне отречение от престола 50 лет тому назад»³⁷. По мнению Шульгина, «и Государь, и верноподданный, дерзнувший просить об отречении, были жертвой обстоятельств, неумолимых и неотвратимых»³⁸. Но даже осознание этого факта не избавляло от постоянных мыслей о личной ответственности за случившееся. «Да, я принял отречение для того, чтобы царя не убили, как Павла I, Петра III, Александра II..., – писал Василий Витальевич. – Но Николай II всё же убили! И потому, и потому я осуждён: мне не удалось спасти царя, царицу, их детей и родственников. Не удалось! Точно я завёрнут в свиток из колючей проволоки, которая ранит меня при каждом к ней прикосновении»³⁹. Со временем ему всё чаще казалось, что «судьба всех бывших подданных этого несчастного царя была навсегда с ним связана»: «Многие из них разделили, рано или поздно, его злосчастную судьбу, т.е. погибли насильственной смертью. Их убивали сначала за то, что они не приняли революции. Потом, т.е. несколькими годами позже, стали убивать и тех, что пошли за триумфальной колесницей, т.е. за Революцией. И те, и другие были подданными царя Николая II. Разница была в том, что первые были верноподданные; а вторые, если можно так сказать, “скверноподданные”. Судьба тех и других была одинакова: смерть, как последствие “крушения империи”»⁴⁰.

В своей переписке Маклаков и Шульгин обсуждали и трагедию Белого дела, понимая её совершенно по-разному. Для Маклакова «чудом была бы и победа Колчака, и победа Деникина, и победа Врангеля; чудом было бы избавление России кровью и доблестью Добровольческой армии» (с. 65–66). Шульгин видел причину поражения Деникина в том, что белые «не остались на высоте белизны». «Но этого и не могло быть..., – признавал он в неопубликованной статье “Антируссизм и антисемитизм”. – Ведь если бы мы были белые по природе своей, никакой революции не произошло бы. Из подлинно белых рук власть не вырывают... Мы не были белыми по существу, и поэтому произошла революция. Но когда она произошла, мы, будучи серенькими и грязненькими, всё же бросились на защиту белого знамени, поднятого несколькими русскими, которых Россия может не стыдиться... Грешные, мы пошли за святыми... Труссы, мы пошли за героями. Низкие душой, мы пошли за идеалом Белой борьбы. И хотя часто пачкали мы белое знамя своими грязными руками, но всё же держали его над Россией сколько смогли, не щадя живота своего и обильно поливая его подножие пусть грешной, но всё же собственной кровью»⁴¹. Белую армию погубили «серые и грязные», которых, «увы, примазалось не малое число»⁴². Первые «прятались и бездельничали, вторые – крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради садистского, извращённого грязно-кровавого удовольствия»⁴³. «Серые» и «грязные» утратили честь и мораль, однако «Белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль»⁴⁴. Белые,

³⁷ ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 304, л. 40–42. См. также: *Пученков А.С.* «Историк» против Василия Шульгина: о фильме «Перед судом истории» Фридриха Эрмлера (1965) // *Русский сборник: Исследования по истории России*. Т. X. М., 2011. С. 361–378.

³⁸ ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 304, л. 10.

³⁹ Там же, л. 53.

⁴⁰ Там же, л. 7–9.

⁴¹ Там же, д. 15, л. 92–93. Отточия принадлежат В.В. Шульгину.

⁴² *Шульгин В.В.* «Что нам в них не нравится...»: Об антисемитизме в России. СПб., 1992. С. 67.

⁴³ *Шульгин В.В.* Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 527.

⁴⁴ Там же. С. 294.

писал Шульгин в дни крушения деникинского фронта, возненавидели русский народ, «окрасноармеились», и, фактически приняв большевистский лозунг «Грабь награбленное!» применительно к своим же соотечественникам, тем самым «подали Ленину руку через фронт»⁴⁵. Армия устала от лишений и пожелала получить трофеи от «благодарного населения». В результате «микроб своеволия охватил всю армию», и «она очнулась, как известно, только в Крыму, потеряв все свои завоевания»⁴⁶. Добровольцы, по словам Шульгина, стали превращаться в «зловольцев»: «Рядом с увядающей лилией доброволия распускался буйный будяк Зловолия. Зловольцы быстро раскусили секрет деникинского царства – царства “диктатуры на словах”, отсутствие той железной воли, перед которой радостным строем стоят Добрые и перед которой, скрипя зубами, склоняются Злые. Зловольцы отлично поняли, что можно безнаказанно предаваться своей природе. Что же касается третьей стихии – большого пласта, лежащего между добровольцами и зловольцами, – именно безвольцев, то для них находилось чудное оправдание: раз начальство о нас не заботится, то мы имеем право сами о себе позаботиться. Раз Деникин не даёт, надо самим взять. Как только было произнесено это слово: “самим взять”, всё покатилося по наклонной плоскости. Плоскость эта характеризуется двумя истинами; одной – русской “душа меру знает”, а другой – французской “аппетит приходит во время еды”... И пошло. Зловольцы “ловчились”, зловольцы крали, зловольцы грабили, зловольцы убивали, а население, смотря на всё это, горестно воздевало руки к небу: вот тебе и добровольцы! Оно не знало, что добровольцев собственно уже нет, а есть плохо дисциплинированная армия из обыкновенных русских людей, у которых “бугор собственности” к тому же никогда не отличался чрезмерным развитием»⁴⁷. Маклаков также сообщал в декабре 1919 г. Б.А. Бахметеву про появившееся в Добровольческой армии «горделивое чувство, что в них одних спасение России и что нужно следовать тем советам, которые они дают». «А эти советы и понятия офицерства очень упрощены, – писал он, – бей социалистов, бей спекулянтов, бей жидов, и плохо то, что не всегда власти могут бороться с такими настроениями»⁴⁸.

Белые проиграли, потому что перестали быть Белыми. Контрреволюция, как считал Шульгин, не смогла выдвинуть ни одного нового имени: «новых людей нет, а старых и мало, и пали они духом»⁴⁹. «В этом и была наша трагедия, – размышлял Шульгин уже в эмиграции в своей до сих пор не опубликованной книге “1919 г. Киев под добровольцами”. – Ведь революция произошла именно потому, что человеческий Stoff (материал. – нем.), составлявший государственную ткань, не выдержал и лопнул. И вот теперь из этих клочков, из лоскутков невыдержавшего материала, приходилось отстраивать заново российское государство. Если бы ещё была уверенность, что клочки Stoff’a за время революции улучшились в смысле добротности. Так ведь нет. В массе они скорее ухудшились. Хотя и поумнели политически, но нравственно ещё более разболтались»⁵⁰.

«Истинным виновником нашей трагедии было обывательское равнодушие, легкомыслие и аморальность, – указывал в 1923 г. Шульгин в предисловии к так и не опубликованной книге В.М. Левитского “Борьба на Юге”. – Русский

⁴⁵ Шульгин В.В. Дубровские // Великая Россия. Новороссийск. 1920. 8 февраля.

⁴⁶ Шульгин В. Русский исход // Русская газета. 1924. 7 мая.

⁴⁷ Шульгин В. В отпуску // Новое время. Белград. 1924. 28 июня.

⁴⁸ «Совершенно лично и доверительно!»... Т. 1. С. 135.

⁴⁹ Шульгин В. Тыл отстаёт от фронта // Киевлянин. 1919. 1 сентября.

⁵⁰ ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 18, л. 97.

обыватель, из-за спасения которого в сущности шла борьба, сначала полагал, что лучше всего он спасётся, если будет сидеть тихо и мирно. Поэтому в начале, когда Добровольческая армия была действительно добровольческой, он поставлял добровольцев в ничтожном для России количестве. Когда же армия генерала Деникина перешла к системе мобилизаций, мобилизованный обыватель отомстил тем, что выявил свою истинную, далеко не белую натуру... Обывательщина заполнила войска и администрацию. Она влила в Белое движение свои обычные качества: неврастеническую раздражительность, непостоянство, расточительность, неодолимую потребность к злословию и злопыхательству и полное отсутствие уважения к чужой собственности. Это была та самая русская обывательщина или общественность, которая столько лет сочувственно наблюдала, как политиканы разных мастей подучивали мужика грабить помещика, праздновала убийства министров и городских, отбивала ладони, рукоплекская тенорам и басам из студенческой молодежи, затягивавшим “Дубинушку”. Народ проснулся; дубину нашёл и ухнул... Только одним концом по помещикам, генералам и министрам, а другим по этой самой русской интеллигенции, которая столько вызывала и, наконец, вызвала дубинушку. От неожиданного удара мозга обывателя-интеллигента своротились слева направо, но и только: дубинушка не могла переменить сущности, основы его натуры. Поэтому, когда он получил винтовку из белых рук генерала Деникина “для спасения России”, он вместо этого занялся делом, более отвечающим его духовной консистенции: вместо одного помещика грабил и помещика, и крестьян, и кого попало. Вместо министров и городских убивал “жидов” и безоружных “коммунистов”. А вместо дубинушки тайно и явно мечтал о том, как бы перевешать всех “кадетов”, разумея под этим именем всех, кто старался обуздать его дикость. Напрасно горсточка истинно белых боролась с этим жёлтым потоком. Их могла привести в чувство только страшная катастрофа: она и разразилась. В точности повторилась история крестовых походов. Высокая идея освобождения Гроба Господня превышала силы немногочисленных истинных крестоносцев. Пришлось опираться на более широкие круги, мобилизовать общество. Тогдашняя широкая общественность состояла из “розовой”, понимавшей мужество как право пьянствовать, играть в кости, бандитствовать по большим дорогам и дико ссориться между собой. Когда их призвали к святому делу, они его затоптали в грязь. И тем не менее крестовые походы навсегда остались в памяти человечества как высокий порыв, зародившийся в нравственных безднах средневековья. Таковую же светлую память оставит после себя дело Алексеева, Корнилова, Деникина и Врангеля. Наша общая ошибка, если можно в этом случае говорить об ошибках, состояла в том, что мы переоценили этот человеческий материал, которым оперировали, загипнотизированные примерами необычайной доблести настоящих белых добровольцев, мы приписали эти качества и всей обывательщине, которую включили в свои ряды. Мобилизовав эту обывательщину, мы поставили перед ней сверхгероическую задачу. Может быть, и естественно, что обыватель не мог её выполнить. Большевики победили нас чувством реальности. К концу 1919 года со всякой идеализацией большевистского движения было покончено. “Рай” был погребён ужасом созданной ими жизни, их моральный облик внушал только отвращение. Но он внушал и страх. Это большевики поняли. Поняли и использовали всю, террором и дисциплиной они взнуздали русского обывателя и погнало его на белых. Они не ставили героических задач, они не требовали подвига, они требовали повиновения, повиновение им

было оказано»⁵¹. «Да, наш путь казался славным тогда..., – вспоминал Василий Витальевич в начале 1920-х гг. – Через короткое время он стал только “крестным” тяжёлым, но слава отлетела. Всё равно... Пройдут большие годы, и слава вернётся... Потому что при всех наших недостатках мы всё-таки оказались из того штофа, который нельзя было “скотом бессловесным” вести на бойню: мы не пошли, – мы взяли за винтовки и дали “бой”... Нас победили, но мы отстаивали своё право называться людьми... В этом наша слава, и её воздадут нам потомки»⁵².

Безусловно, главным вопросом для русской эмиграции 1920-х гг. был вопрос о новых формах борьбы с большевизмом после окончания активной фазы Гражданской войны. И Маклаков, и Шульгин истово верили в крушение власти большевиков, и весь вопрос сводился к тому, когда, в каком виде и качестве эмигранты вернутся в Россию. Шульгин выражал уверенность «в необычайной живучести русского тела», в том, что «процесс жестокого прессования, которому подвергнуты русские и Белой, и Красной России, – даст в итоге фалангу людей необычайно закалённых, т.е. именно то, чего нам недоставало». «Ибо я убеждён, – оговаривался он, – что причина всех несчастий была изнеженность руководящего класса, неспособного нести на себе бремя власти» (с. 55). В свою очередь, Маклаков, оглядываясь назад, писал профессору А.А. Кизеветтеру: «Мы попробовали штурм большевизма, на нём мы провалились; может быть, нужна осада»⁵³. На «осаде» советского режима в то время настаивал и Шульгин.

В письмах к Маклакову Шульгин ставит вопрос о происхождении и почвенности украинского сепаратизма. Выступив в период Гражданской войны главным идейным оппонентом украинского самостийного движения, Василий Витальевич даже в 1929 г. утверждал: «Без оскорбления серого мозгового вещества можно именоваться только: “малороссиянами-автономистами” или “малороссияне-областники”. Таким областником, кстати, я себя лично и считаю» (с. 353). По мнению Шульгина, «украинский вопрос – это спор южан между собой (выделено в письме. – А.П.), из которых одни желают оставаться русскими, которыми они и были от века..., а другие желают, наплевав в очи батькови и матери, отступить от национальности своих предков» (с. 298).

Отрицая существование особого украинского народа, равно как и какой-то самостоятельной от России истории «Украинской державы», Шульгин ссылаясь на то, что «никогда, ни в какую эпоху украинская держава не существовала», а «земли, которые ныне зачисляются во вновь сфабрикованную украинскую державу, всегда и неизменно считали себя русскими, причём в более древний период назывались просто Русью, а в позднейший – Малою Русью»⁵⁴. «Украинцы» представлялись ему своеобразной политической сектой, члены которой являются «злейшими врагами русского народа»⁵⁵. Раздражало его и то, что «украинцы», или, по его терминологии, «русские, живущие на Украине», «рассудку вопреки и наперекор стихиям, стремятся доказать, что они не русские и никогда ими не были»⁵⁶. «Если есть вообще на свете русское племя, – считал

⁵¹ Там же, ф. Р-5881, оп. 2, д. 449, л. 1г–1е.

⁵² Там же, ф. Р-5974, оп. 1, д. 18, л. 123.

⁵³ «Большевизм есть несчастье, но несчастье заслуженное». Переписка В.А. Маклакова и А.А. Кизеветтера // Источник. 1996. № 2(21). С. 19.

⁵⁴ ГА РФ, ф. Р-446, оп. 1, д. 43, л. 3.

⁵⁵ Шульгин В. Протекторат // Россия. Одесса. 1919. 19 января.

⁵⁶ Шульгин В.В. «Малая Русь» // Малая Русь. Выпуск первый. Киев, 1918. С. 4.

Шульгин, – то основная его часть, его ядро, это – то население, которое группировалось вокруг Киева, как своего центра»⁵⁷. В письме к Маклакову он выразил свою мысль ещё чётче: *«мы, южане, из всех русских самые русские»* (выделено В.В. Шульгиным. – А.П.) (подобно тому, как афиняне более греки, чем византийцы), и посему русскими мы останемся даже в том случае, если бы москвичи и петроградцы вздумали отречься от своего национального имени и назваться, например, “евразийцами”» (с. 333). Для Шульгина малороссы и великороссы всегда оставались частью единого русского племени, отличия между которыми сводились к простонародному говору и ряду региональных особенностей⁵⁸. Шульгин удивлялся, как слово «украинец» может обозначать национальность, если «Украина» – это любая приграничная территория, окраина государства⁵⁹. Признание существования отдельной украинской нации казалось ему совершенно недопустимым, ибо «если существует 35 миллионов украинцев, то всё остальное, в том числе “украинская держава” приложится»⁶⁰. Не следовало даже называть Малороссию «Украиной», поскольку это использовалось «украинцами» в своей политической игре⁶¹. «Наше собственное невежество доходило и доходит до того, что Москву почитают “исконно русским краем”, а Киев – “столицей Украины”», – иронизировал Шульгин над украинским движением⁶². «Перестаньте называть древнюю Киевскую Русь – Украиной», – призывал он, словно предчувствуя появление современных украинских учебников истории⁶³. Для населения Малороссии, по его мнению, единственно приемлемой во все времена оставалась лишь русская власть, «ибо она была ему родная»⁶⁴. Украинская же государственность оказалась нежизнеспособной в силу того, что «для украинской державы нужен украинский народ, которого не оказалось в наличности». Между тем «территория, на которую претендовала украинская держава, от века занята народом русским, и по этой простой причине никакой иной, кроме русской, державы здесь не удержится»⁶⁵.

Всё это свидетельствует о том, что, вопросы, затронутые в письмах В.В. Шульгина и В.А. Маклакова, чрезвычайно актуальны не только для профессиональных историков, но и для любого человека, интересующегося проблемами отечественной истории. Безусловно, все читатели книги будут глубоко признательны О.В. Будницкому, сделавшему их переписку достоянием широкой общественности.

Александр Репников: «Видеть правду другой стороны»

В своих письмах В.В. Шульгин по-писательски эмоционален, склонен оперировать яркими метафорами и образами, категоричен в суждениях. В.А. Маклаков, напротив, по-юридически рассудителен⁶⁶, рассматривает все pro et contra

⁵⁷ Шульгин В. Великая правда и великая ложь // Русская мысль. Париж, 1927. Кн. 1. С. 77.

⁵⁸ Там же. С. 72–73.

⁵⁹ Там же. С. 151.

⁶⁰ ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 18, л. 136.

⁶¹ Шульгин В.В. Аншлус и мы. Белград, 1938. С. 5.

⁶² ГА РФ, ф. Р-5974, оп. 1, д. 17, л. 8.

⁶³ Шульгин В.В. Да или нет // Русская газета. Париж. 1925. 7–8 января.

⁶⁴ Шульгин В.В. Местные особенности // Великая Россия. Ростов н/Д. 1919. 21 сентября.

⁶⁵ Передовая В. Шульгина // Киевлянин. 1919. 17 ноября.

⁶⁶ Характерна в этом отношении его позиция по вопросу об отношении российских дипломатических представителей к сторонникам советской власти (с. 156–160).

и не спешит с вынесением окончательных оценок. Без ярких эмоций, колкости суждений, кинематографичности текстов (с. 16) образ Шульгина был бы не полон⁶⁷. Язвительность он сохранит до конца жизни. Она чувствуется между строк в его заявлениях в период заключения во Владимирском центральном, в беседе 1961 г. с офицером КГБ Ф.Д. Бобковым и в сюжетах фильма «Перед судом истории». Неповторимый шульгинский сарказм был замечен и в разговорах с критиками и почитателями, приезжавшими к нему во Владимир в 1960-е гг. Выгодно отличаясь широтой суждений от современных ему «правых», он останется одиночкой, не имевшим «группы поддержки»⁶⁸, обречённым на критику со стороны как политических противников, так и тех, с кем, казалось, находился в одном консервативном лагере.

После тюремного опыта Владимирского централа (1947–1956 гг.) у Шульгина в полной мере проявится ещё и то, что О.В. Будницкий характеризует как «способность видеть правду другой стороны» (с. 15). Будучи уже старцем с седой бородой, Василий Витальевич отмечал, что неразумно было бы прожить столь долгую жизнь и остаться в суждениях на уровне молодого Шульгина «с усиками», сотрясавшего когда-то своими речами стены Государственной думы. Он менялся, порой ошибаясь, увлекаясь людьми и идеями, иногда жестоко разочаровываясь, но никогда не «перекрашивался». Вчерашним членам КПСС, записавшимся в либералы, консерваторы или государственники, этого не понять, и они или отторгают наследие Шульгина, или вычлениют в нём только те фрагменты, которые можно использовать для подтверждения собственных взглядов.

Публикация двадцатилетней переписки, сделанная без каких-либо купюр, интересна ещё и тем, что в 1919–1939 гг. Шульгин находился во «втором», весьма активном, периоде своей жизни. И если оставшаяся в прошлом «первая» жизнь депутата, известного политика, публициста «Киевлянина», белогвардейца будет изучаться его биографами прежде всего на основе думских речей, статей и воспоминаний, а «третья» жизнь подследственного, заключённого, затем – пенсионера, получившего от советской власти квартиру во Владимире, – по материалам следственного и судебного дел, то «эмигрантский» период будет реконструироваться, помимо прочего, и по переписке с В.А. Маклаковым, выявленной О.В. Будницким в архиве Гуверовского института Стэнфордского университета (США), Государственном архиве Российской Федерации и рукописном отделе Британской библиотеки. Можно не сомневаться в том, что историки (и не только они) получили «первоклассный источник по истории русской эмиграции и общественной мысли» (с. 37). Публикатор сделал своё дело профессионально, а использование и усвоение опубликованного уже зависит от интеллектуального уровня читателей⁶⁹.

⁶⁷ «Впрочем, публика не интересуется сейчас ничем, что не напоминает кинематограф, – писал Шульгин 2 августа 1923 г. – Это удовольствие я им доставил “1920 годом”» (с. 132).

⁶⁸ При отсутствии умных единомышленников начинаешь ценить умных и искренних оппонентов. В 1936 г. Шульгин предлагал Маклакову: «Я буду писать всякую ересь, а Вы меня изругайте, пожалуйста. Из этого что-нибудь да выйдет освежающее. Меня убивает скудость и пошлость мысли. Никто ничего не может выдумать» (с. 418).

⁶⁹ Данная оговорка представляется принципиальной, поскольку всё чаще приходится сталкиваться с тем, что выявленные и опубликованные документы остаются незамеченными или же интерпретируются пристрастным читателем совершенно ненаучным образом. Подробнее см.: *Ненароков А.П.* Опубликовано, но не усвоено // *Россия XXI.* 2011. № 2. С. 168–183.

Во вступительной статье Будницкий уделяет основное внимание не столько подробностям биографии Шульгина и Маклакова, сколько параллелям в их судьбах, начиная от политических взглядов и заканчивая такими особенностями, как «успех у женщин» (с. 14), способность мыслить нестандартно (с. 15–16) и взаимное уважительно-дружеское отношение. В их переписке самые острые споры никогда не переходили в перебранку (с. 22). В своих формулировках Будницкий предельно корректен и осторожен, не раз, приводя ту или иную информацию, он оговаривается, что «по другим сведениям» дело обстояло иначе.

Тем не менее необходимо всё же сделать несколько уточнений. Так, Шульгин вспоминал, что «Временное правительство передало в моё распоряжение П[етроградское] т[елеграфное] а[гентство]»⁷⁰. Об этом говорится и во вступительной статье (с. 11–12). Однако, как уточняют исследователи, «сведений о том, что Временное правительство передало в распоряжение Шульгина Петроградское Телеграфное Агентство, обнаружить не удалось. Между тем известно, что комиссаром Временного комитета Государственной думы в ПТА был П.П. Гронский»⁷¹. Оспаривается историками и то, что Шульгин осенью 1917 г., переехав в Киев, встал во главе «Русского национального союза» (с. 13). Д.И. Бабков утверждает, что «следов существования организации с таким названием не обнаружено», Шульгин же возглавил «Внепартийный блок русских избирателей», причём ещё в июле⁷².

Пережив крушение «старой» России и кровопролитную Гражданскую войну, Шульгин не всегда мог удержаться от резкости в суждениях. В первых его письмах к Маклакову заметно, что он ещё «не остыл» от борьбы с большевиками. Постепенно будни эмигрантской жизни вытесняли прошлые проблемы и эмоции. Шульгин много пишет о бытовых вопросах, подробно живописует отношения различных политических и общественных групп, впрочем, не скатываясь до уровня интриг и сплетен. В письмах часто говорится об оформлении развода Василия Витальевича с его бывшей женой Е.Г. Шульгиной и заключении брака с молодой М.Д. Седельниковой. Тогда ещё никто не мог предугадать, что бывшая жена Шульгина в 1934 г. в состоянии депрессии покончит с собой, утопившись в Дунае, а новая супруга долгие годы будет в неведении о судьбе своего мужа, задержанного в 1944 г. офицером Смерша и увезённого из Югославии в СССР. Трагическое будущее ещё впереди, и тема развода и нового брака в письмах звучит скорее в иронических тонах. Шульгин шутливо сердится, обвиняя Маклакова в отсутствии поздравлений по случаю женитьбы, а Василий Алексеевич отвечает, что Василий Витальевич виноват сам, поскольку «все европейцы, если они не неучи и не математики, имеют первой обязанностью оповещать своих добрых знакомых о всех печальных событиях их жизни: смерти близких людей, женитьбе и т.п.; только по... такой печатной бумажке они могут претендовать на поздравления» (с. 215).

В письмах встречаются лишь полунамёки относительно поездки Шульгина в СССР в конце 1925–1926 гг. В истории знаменитой операции «Трест» до сих пор ещё больше вопросов, нежели ответов. Вольно или невольно попавшие

⁷⁰ Шульгин В.В. 1917–1919 // Лица: Биографический альманах. Т. 5. М.; СПб., 1994. С. 133.

⁷¹ Там же. С. 291; Николаев А.Б. Гронский П.П. // Государственная Дума России: Энциклопедия. Т. 1. М., 2006. С. 158.

⁷² Бабков Д.И. Политическая деятельность и взгляды В.В. Шульгина в 1917–1939 гг. Дис. ... канд. ист. наук. Брянск, 2008. С. 10–11, 36.

в «паутину» этой операции люди будут гибнуть насильственной смертью с печальным постоянством. В неизвестном месте упокоится похищенный советскими спецслужбами А.П. Кутепов, погибнет его племянница М.В. Захарченко-Шульц и сгинет где-то её последняя любовь – раскаявшийся «чекист» Опперпут-Стауниц. Когда Шульгина в июле 1947 г. переведут во Владимирский централ, он неожиданно окажется там вместе с Павлом Кутеповым, сыном генерала. По злой иронии судьбы рассеянные по свету вихрем революции «бывшие» будут встречаться за границей, на этапах, в тюрьмах. История не пощадит людей, но сохранит для нас их книги, письма, следственные дела. Последние, кстати, отражают не только путь представителей «антисоветски настроенной эмиграции». 14 декабря 1929 г. будет арестован мифический руководитель «Треста» А.А. Якушев, столь ловко обманувший Шульгина. Ордер на его арест следствие оформит только 31 марта 1934 г.(!) Осуждённый 5 апреля того же года и отправленный на Соловки, тяжело больной, Якушев скончается 12 февраля 1937 г. Не менее печальной будет и судьба А.Х. Артузова. 21 августа 1938 г. он будет приговорён тройкой НКВД СССР в особом порядке к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Шульгин переживёт всех фигурантов «Треста». Но он об этом ещё не знал, когда 29 октября 1927 г. писал П.Б. Струве: «Существует очень мудрый политический обычай в культурных странах после “провала” выходить в отставку..., хотя бы на время. Этот приём я и хочу применить к себе в данном разе... Я предпочитаю износить сначала башмаки, в которых я опростоволосился, прежде чем возобновлять публицистическую деятельность... Мне необходимо побыть в тени»⁷³. Шульгин отошёл от активной политической жизни и в 1930 г. уехал в Югославию, где жил пожилой отец его жены. Останься он во Франции, не пришлось бы ему знакомиться с офицерами Смерша, ночными допросами и советской тюрьмой.

А если бы Шульгин выбрал Германию? Последнее письмо к Маклакову, подробно проанализированное Будницким (с. 34–35), позволяет делать разные предположения. В материалах следственного дела Шульгина есть информация о его рукописи «Пояс Ориона», в которой шла речь о создании единого союза из трёх «звёзд» Пояса Ориона: гитлеровской Германии, Японии и России, «освобождённой» от советской власти с помощью Германии и Японии. Эту повесть Шульгин собирался передать «влиятельным немцам». Хотя следствие и не располагало текстом «Пояса Ориона», но благодаря показаниям М.А. Георгиевского, бывшего исполнительного секретаря Национально-трудового союза нового поколения, оно имело сведения о рукописи, и этого оказалось достаточно для обвинения Шульгина в провоцировании руководства Германии к нападению на СССР в 1936 г.

В годы войны Маклаков, несмотря на преклонный возраст, возглавлял во Франции группу, занимавшуюся антинацистской пропагандой. Шульгин после захвата немцами Югославии не стал ни бороться с нацистами, ни служить им. Это спасло его от участи П.Н. Краснова и А.Г. Шкуро, хотя и не уберегло от тюрьмы. Из следственных документов нельзя сделать вывод о каком-либо сотрудничестве Шульгина с нацистами в период оккупации Югославии, хотя, возможно, его имя использовалось немцами в 1941–1944 гг. в пропагандистских целях. Судя по «Поясу Ориона», брошюре «Аншлусс и мы» (1938 г.) и письмам к Маклакову, Шульгин первоначально симпатизировал политике Гитлера.

⁷³ Цит. по: Флейшман Л. В тисках провокации: Операция «Трест» и русская зарубежная печать. М., 2003. С. 267.

Однако впоследствии он вспоминал, что «ни с одним немцем за всю войну мне не удалось сказать ни одного слова»⁷⁴. Позднее Шульгин напишет по этому поводу: «Мне удалось не поклониться Гитлеру. Его теория о том, что немецкая раса, как сероглазая, призвана повелевать над людьми с темными глазами, казалась мне непостижимо нелепой»⁷⁵. Подтвердить или опровергнуть эти слова едва ли возможно.

Маклаков, поднимавший 2 февраля 1945 г. в советском посольстве бокал за здоровье И.В. Сталина, так и не узнает о судьбе Шульгина, а Шульгин, выйдя на свободу, будет не раз ещё вспоминать о своём старом друге, иногда оговариваясь, что знал в жизни и масона высокой степени (с. 27). Разумеется, не масонством Маклакова, на которое он и сам намекал Шульгину в письме (с. 369, 374), и не антисемитизмом Шульгина держалась их переписка (хотя еврейский вопрос занимал в ней не последнее место). Оба автора 20 лет вместе пытались понять, что же произошло с Россией и какая судьба ей уготована. В чём-то их прогнозы оказались верны, в чём-то – иллюзорны. Для внимательного читателя эта книга ещё и предостережение от увлечения утопиями – как либеральными, так и националистическими или какими-то иными. Неплохо бы прочесть её и современным политикам.

Чтобы написать подробную биографию Шульгина, исследователю может понадобиться вся жизнь. В сентябре 2012 г. мне посчастливилось встретиться с потомком В.В. Шульгина Ольгой Матич, профессором Калифорнийского университета в Беркли (США). Книга, которую она написала о своих знаменитых родственниках и предках, должна скоро выйти в Москве. Несомненно, многое в ней станет открытием для историков. Множество документов, связанных с Шульгиным, отложено в государственных и частных архивах разных стран. Своей многолетней работой над перепиской Шульгина и Маклакова Олег Витальевич Будницкий заметно облегчил задачу будущих биографов.

Виктор Шевырин: Спор – Диалог

Переписка В.А. Маклакова и В.В. Шульгина завораживает. В ней есть какое-то чудодейственное «волхование», магнетическое действие мысли и слова, длившееся 20 лет в удивительной атмосфере высокой духовности, истинного творчества и глубокой взаимной приязни этих в высшей степени неординарных людей, известных в своё время всей России.

О.В. Будницкий, надо полагать, впечатлённый этой особой атмосферой их эпистолярного общения, не без некоторого удивления отмечает, что «переписка Маклакова с Шульгиным поразительно отличается от его корреспонденции даже с близкими единомышленниками по тону..., легкости, свободе» (с. 16). И это слово «свобода» – ключевое не только для понимания собственно тона и духа переписки, для её участников свобода – это и «имманентность», или, как раньше говаривали, альфа и омега их существа. Свобода, свободолюбие – их алтари, святилища. В письмах есть «лучики», высвечивающие это. В одном из них Маклаков неожиданно роняет фразу: «Я... всегда был свобододлюбив» (с. 160). Это – настоящее откровение со стороны человека, сознательно избегавшего всякой «исповеди» и признававшегося: «Не люблю печатно говорить

⁷⁴ Шульгин В.В. Пятна // Лица: Биографический альманах. Т. 7. М.; СПб., 1996. С. 343.

⁷⁵ Шульгин В.В. Письма к русским эмигрантам. М., 1961. С. 11.

о себе» (с. 174). След явной нелюбви несут на себе и его мемуары, резко отличавшиеся в этом отношении от воспоминаний его современников. Тем ценнее крупницы таких «личных» сведений в переписке его с Шульгиным. Маклаков до сих пор ещё во многом terra incognita. При всей своей внешней открытости (и даже импульсивной непосредственности, свойственной ему в молодости) он остался скрытным человеком, у которого «рассудок всегда настороже», а в эмиграции и вовсе привык «никому не верить» (с. 309). Неудивительно, что мало кто сумел увидеть в нём главное, стержневое, бесспорно приоритетное – свободу и независимость личности. Однажды, ещё в молодые годы, в разговоре со своей женой Е.П. Михайловской Маклаков убеждённо произнёс: «Я родился и умру цыганом»⁷⁶. Она и сама замечала: «Раз ты вполне свободен, то всегда испытываешь то приподнятое настроение, которое так красит тебя и делает так привлекательным»⁷⁷. З.Г. Морозова (супруга С.Т. Морозова) в переписке с Маклаковым, тогда уже знаменитым адвокатом, упоминала о его «чувстве свободы» как о сильной черте, которую «Вы всегда хотите доказать»⁷⁸. И тот «спор о России», который вели в эмиграции Маклаков и Шульгин, во многом был спором о свободе и её судьбе, включая дебаты об освободительном движении, революции, перспективах возрождения родины.

Независимость, свободолобие, свободомыслие были органически присущи Маклакову, составляя основу его либерализма. В кадетской партии он стоял особняком, порой подумывая даже о выходе из организации, когда тактические виражи заносили её в «радикализм». И в адвокатуре он был независим, и «на чужих берегах» остался «над схваткой», вне всякой эмигрантской «свары», что не преминул отметить Шульгин. Маклаков всегда был убеждён, что общество и власть существуют для личности, а не наоборот, и личность не поглощается ими, но должна оставаться свободной и независимой. «Идея государства, отождествлённая с идеей о свободе», составляла, по его мнению, «первый элемент» любой общественной истины⁷⁹.

То, что О.В. Будницкий сделал переписку, в которой царит дух свободы, достоянием читателей, – его несомненная заслуга. Впрочем, будучи первооткрывателем маклаковских писем, он давно понял их сугубую историческую ценность. Как и бахметевская «трилогия»⁸⁰, данная книга представляет «высший пилотаж» в деле публикации эпистолярных источников. Вводная статья и комментарии так органично стыкуются со всем корпусом писем, что книга воспринимается как некий монолит. Комментарии весьма информативны: в них много нового материала (в том числе цитируется и ряд документов, хранящихся в зарубежных архивах), уточняется датировка писем, даны исчерпывающие сведения по проблемам, затронутым корреспондентами, и т.д. Сделано, кажется, всё для устранения даже малейших затруднений, которые могли бы возникнуть у читателей. Комментарии поистине – мощные «контрфорсы» переписки.

А сама она крайне важна для понимания настроений и быта эмиграции, а также для реконструкции целостного представления корреспондентов о причинах катастрофы 1917 года и возможных «рецептах» врачевания большевистского «недуга». Есть в ней и сведения, заполняющие лакуны в наших знаниях о

⁷⁶ ОПИ ГИМ, ф. 31, д. 46, л. 162.

⁷⁷ Там же, д. 45, л. 5.

⁷⁸ Там же, д. 47, л. 25–26.

⁷⁹ Там же, д. 1, л. 119–120.

⁸⁰ «Совершенно лично и доверительно!»...

Маклакове и Шульгине, хотя в последние полтора-два десятилетия переизданы многие их сочинения и появились исследования, освещающие их взгляды и жизнь (работы О.В. Будницкого, В.М. Шевырина, Н.И. Дедкова, М.А. Ивановой, С.С. Секиринского, Г.З. Иоффе, А.В. Репникова и др.).

Будницкий вносит свою живую исследовательскую мысль и в интерпретацию мировоззрения и деятельности «друзей-противников» Маклакова и Шульгина. В их «споре о России» видно искреннее желание понять, что же произошло, в чём причины катастрофы 1917 г., и что делать эмиграции. Разумеется, по некоторым вопросам расхождения корреспондентов были подобны, как им казалось, глубокому рву. Но ведь и переписка Маклакова со своим другом Б.А. Бахметевым, с которым у него «установилось полное душевное и умственное понимание» (с. 85), носила иногда характер бесполезного препирательства, потому что они говорили тогда «на разных языках» и совершенно по-иному смотрели на суть обсуждаемого вопроса⁸¹. И всё же в целом в ней безусловно превалировал конструктивный диалог. Спор между Маклаковым и Шульгиным по существу своему нередко также был эпистолярным диалогом. Именно так и характеризует их переписку Будницкий (с. 5). В связи с этим нужно отметить, что её «элементы», «сближающие» или «отчуждающие» Маклакова и Шульгина, были весьма многообразны и подвижны, порой они обращались в собственную противоположность, однако из переписки не исчезали ни свойственная ей дружеская лёгкость, ни «электрические» разряды, вызванные различием мнений по многим проблемам тех лет.

Во вводной статье О.В. Будницким, по сути, создан «двойной портрет» В.А. Маклакова и В.В. Шульгина в контексте событий их времени. Автор останавливается «прежде всего на том, что сближало и что разделяло» их в России и в эмиграции (с. 6). Он рассматривает их как идейных противников, которые, однако, были ближе друг другу, чем многие соратники. В книге немало фактов, подтверждающих, что их тянуло друг к другу. Шульгину импонировало отсутствие в Маклакове «крайностей фанатизма» и то, что «с ним можно было говорить по любому предмету, и он никогда не лез на стену, пытаясь что-то доказать» (с. 13). «По моей известной Вам терпимости я с людьми не ссорюсь из-за разногласия», – напоминал ему об этом Маклаков (с. 307). Будницкий полагает, что Шульгину такая терпимость не была свойственна (с. 16). В отношении противников – точно. В Государственной думе его называли «очковой змеей», он имел репутацию язвительнейшего «социалистаеда», доводившего своих оппонентов «шуточками», вроде той, ставшей «поговоркой» в кулуарах Думы, которую он как-то адресовал эсерам и трудовикам: «А нет ли у вас, господа, бомбочки в кармане?». В эмиграции Шульгин, случалось, разрывал отношения по «идейным соображениям» даже с очень близкими людьми. Но он прекрасно «уживался» с Маклаковым, несмотря на все их «баталии» и то, что Маклаков был масоном (причём высшей, 33-й степени, которой кроме него обладал только М.С. Маргулиес). Они оставались в зоне взаимного притяжения и из-за того, что в эмиграции были, по выражению Шульгина, «белыми воронами» среди «своих». Шульгин начал политический дрейф влево – в сторону националистов ещё в Государственной думе, вошёл в Прогрессивный блок, к созданию которого Маклаков приложил столько усилий, что Шульгин считал это объединение детищем Маклакова, которое у него похитил Милюков. В эмиграции

⁸¹ Там же. Т. 3. С. 376.

Василий Витальевич продолжал эволюционировать, и Маклаков, отмечая это в переписке, иногда видел в нём чуть ли не либерала кадетского толка.

Разумеется, у них были и другие качества, которые влекли их друг к другу: потрясающая искренность, честность, благородство, какая-то особая артистичность, художественность натуры. А.В. Тыркова не зря отметила в своих мемуарах благородство Шульгина. И мало кто сейчас помнит, что Маклакова его друзья в юности называли д'Артаньяном. Но если у него с молодых лет логика правила бал, ум и воля всегда были едины, а неуёмный темперамент и сильный характер – строго целенаправленны, то Шульгина всю жизнь увлекали эмоции, порывы и неодолимые страсти его души. При таком их несходстве то, что было им свойственно – ум, лёгкость, жизнелюбие – тоже значительно различались. Будницкий пишет, что их головы были устроены по-разному: каждый из них иначе воспринимал мир. Все самые выдающиеся политические деятели России – В.И. Ленин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин – признавали недюжинные умственные способности Маклакова (разумеется, каждый в своём контексте). А.Р. Ледницкий считал даже, что у него пушкинский ум. Другое дело – Шульгин. Его мысль могла порой, как вспышка молнии, высветить суть происходящего. Но у него был скорее поверхностный, чем глубокий ум. Как человек умный, тонкий, очень ироничный и искренний, он мог признаться в одном из писем к Маклакову после своего афронта с «хождением по трём столицам», что ему не хватило «серого мозгового вещества» (с. 285). Действительно, многие его наблюдения в книге об этом хождении, несмотря на блестящую литературную форму, мягко говоря, не верх пронизательности. Ему всё мерещилось, что «совдеповский» режим доживает свои последние дни. И даже выехав из России, он неделю бегал по утрам в киоск в надежде, что, раскрыв газету, найдёт в ней весть о падении власти большевиков.

Читая переписку, трудно отделаться от впечатления, что, с одной стороны, Маклаков в мягкой форме, но тем не менее часто журит своего корреспондента по разным случаям, а Шульгин, хотя и может порой круто ответить, всё же уступает уму и необычайной одарённости Маклакова. Всё это, однако, ни в малейшей степени не влияло на характер его взаимоотношений с Маклаковым: он, как и его друг, всегда оставался внутренне свободным, творческим человеком, литератором с общественной жилкой, подавшимся в политику, человеком увлекающимся и непредсказуемым, как пламя в сильный ветер. И он верил, что нет «ничего на свете более непринципиального, чем принципы», поскольку взгляды и рассуждения могут легко измениться, «но характеры останутся, и это самое важное» (с. 55). Удивительно ли, что ему нравились в Маклакове лёгкость, чувство юмора, жизнелюбие? Всё это было и в натуре самого Шульгина, и во многом определяло их добрые отношения. Маклаков был «созвучен» Шульгину и другими талантами, проявившимися у него ещё в юности: он хорошо рисовал, писал стихи, увлекался театром и сам играл на сцене и т.д.

Но его «лёгкость» и «лёгкость» Шульгина – всё-таки «две большие разницы». Во введении есть «ход», который я бы назвал «защитой Будницкого»: говоря о «лёгкости» Маклакова, он наполняет её такой серьёзностью, что слова завистливых современников Маклакова о его легковесности, дилетантстве, легкомыслии тают как сиротливые снежинки в апреле. В самом деле, Маклаков, судя по его дневнику (до сих пор неопубликованному), уже к двадцати годам выработал своё мировоззрение. «Эстетик» до мозга костей, впечатлительный, тонко и глубоко чувствующий человек, Маклаков был в то же время и силь-

ной, целеустремлённой личностью. Друг его молодости, М. Гершензон, уже в 1896 г. предрекал Маклакову, что он будет «иметь успех», и тогда же писал ему: «Я во многих отношениях завидую Вам – прежде всего, за уверенность и определённую, с какою Вы делаете свою жизнь; я не могу их объяснить, потому что это не энергия, это что-то другое, чего я не могу уловить в Вас»⁸². В сравнительно молодые годы Василий Алексеевич приобрёл энциклопедические познания по истории, социологии, юриспруденции и т.д. У известного юриста Э. Вормса вызывали неподдельное изумление и обширность познаний Маклакова, и новаторство многих его идей. Не зря к Маклакову обращались как к специалисту Л.Н. Толстой, В.О. Ключевский, С.А. Муромцев, не говоря уж об обычной «клиентуре», которая текла к нему со всей России. Легко и быстро, словно играючи, он постигал суть сложнейших проблем. Видимо, это и породило в среде «тугодумов» миф о его «легковесности», подпитывавшийся слухами о его невероятных успехах на «сердечном фронте». Здесь, правда, не было дыма без огня. И Шульгин не зря иронизировал, заявляя в письме к Маклакову, что Василий Алексеевич не стал вождём кадетов лишь из-за того, что его слишком отвлекали женщины. Роман Гуль называл Маклакова «великим женолюбом». В эмиграции острили, что он одними и теми же стихами соблазняет четвёртое поколение дам. Маклаков действительно был обаятельным и неотразимым кавалером. Его «донжуанский список» мог бы поспорить с пушкинским не только своей обширностью, но и тем, что в нём значились имена дам, которых знала вся Россия. Будницкий дважды называет Маклакова, который был давно разведён, «старым холостяком». В браке с довольно известной в России певицей Е.П. Михайловской он состоял недолго и, судя по переписке с его «избранницей», это был мезальянс, хотя и не без «африканских страстей». Она имела дочь, однако он не признавал её своим ребёнком. Болезненная с рождения девочка умерла двух лет от роду. Не без труда добившись развода, Маклаков почти 20 лет, вплоть до своего отъезда в Париж в 1917 г., посылал бывшей супруге деньги «на жизнь». А после так никогда и не женился, хотя в литературе встречаются необоснованные утверждения, будто он связал свою судьбу с богатой американкой.

О.В. Будницкий пишет и об отношении В.А. Маклакова к брату – Николаю Маклакову, министру внутренних дел и любимцу Николая II. По словам Будницкого, хотя братья и не были друзьями, Василий Алексеевич однажды сказал, что «он никогда не простит» большевикам расстрела Николая Алексеевича (с. 20). Впрочем, «дружбы» между ними и в самом деле не было. Более того, в годы первой революции произошёл, в сущности, почти полный разрыв отношений. И инициатива тут шла от Василия Алексеевича, недовольного и правыми взглядами брата, и его неоправданными претензиями на раздел семейного имущества. После смерти отца в 1895 г. Василий Маклаков стал опекуном своих братьев и сестёр (хотя и до того практически воспитывал их он, а не отец и не мачеха, которую дети не любили) и бдительно стоял на страже вверенных ему интересов. К министерской деятельности брата относился саркастически, пустив гулять по России убийственную фразу о нём как о «государственном младенце». Впрочем, не сговариваясь, они почти одинаково судили о последнем царе. Уже покинув пост министра, убеждённый приверженец самодержавия, Н.А. Маклаков как-то сказал о своём монархе, что погибнуть вместе с ним можно, спасти – нельзя. И В.А. Маклаков считал несчастьем России, что

⁸² ОПИ ГИМ, ф. 31, д. 15, л. 116.

в смутное время на престоле оказался человек, слабейший из всех, кто правил до него.

Будницкий затронул во введении и много других интересных и сложных тем, но «золотая россыпь» фактического материала – в самой переписке. Здесь встречаются потрясающие признания и объяснения сути и различных фазисов революции. Вот, например, Шульгин сравнивает Маклакова той поры, когда он был в России действующим «штыком» либеральной оппозиции, и Маклакова эмигранта, миротворца и поборника идей компромисса и эволюции, которые, по его убеждению, могли спасти Россию, удержав её от погружения в хаос: «Вы... воевали, и в то время как шёл бой, не подвергали обсуждению, а тем паче сомнению, цели и причины войны. Вы только рекомендовали более гуманные способы обращения с противником..., но Вы никогда не произносили того, что пишете теперь и что обозначало бы “вложите мечи в ножны и ищите других способов, ибо нужна не борьба, а сотрудничество с властью”» (с. 364). В этой сентенции Шульгина уже просматривается в зародыше тот ярлык «кающегося либерала», который потом повесят на Маклакова сторонники Милюкова, раздражённые нелицеприятными суждениями Василия Алексеевича о «кадетском радикализме», в «Современных записках», статьях и мемуарах. Но чувствовал ли себя Маклаков «кающимся либералом»? Его переписка с Шульгиным даёт ответ и на это. Тщетно искать в ней какое-либо раскаяние Маклакова в «грехах», которые бы он совершил персонально, хотя однажды он сделал признание скорее «общего характера»: «Во многих наших кадетских и не только кадетских близорукостях и легковесностях я раскаиваюсь» (с. 254). Судя по одному из его писем к Бахметеву, он сожалел, пожалуй, лишь о своей речи в Государственной думе 3 ноября 1916 г.

Эволюция и компромисс были священны для Маклакова. Он утверждал, что «компромисс – цель и основа государственной жизни», а соглашение в политике – «всегда лучший исход»⁸³. Со времён первой поездки во Францию в 1889 г. у него сложился настоящий культ Мирабо – «фанатика» компромисса. По мнению Маклакова, у российских либералов не было самостоятельной силы. Она ещё имела у «исторической власти». Её союз с либеральной общественностью открыл бы перед страной путь эволюции, и Великие реформы можно было бы продолжить⁸⁴. Но власть фатально опаздывала с проведением реформ. Роковая ошибка старого строя «состояла в том, что этот строй не сумел оценить истину, блестяще высказанную Бисмарком, – сила революционеров не в идеях их вожаков, а в небольшой дозе умеренных требований, своевременно неудовлетворённых, – и тем привёл к революции»⁸⁵. Власть вела борьбу с «либеральными течениями», оппозиция отвечала ей тем же. В этом, полагал Маклаков, и таилась опасность: многие, изверившись в возможность эволюции, думали найти в революции желанное избавление, считали её меньшим злом, чем самодержавие, надеялись, что с ней смогут справиться самые умеренные общественные элементы. Но тем самым либералы «вооружали сами своего врага»⁸⁶.

⁸³ Маклаков В.А. Еретические мысли // Новый журнал. Нью-Йорк. 1948. № 19. С. 153; № 20. С. 137.

⁸⁴ Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 328.

⁸⁵ Маклаков В.А. Из прошлого // Современные записки. Т. 29. Париж. 1929. С. 289, 300, 310.

⁸⁶ Маклаков В.А. Из воспоминаний. С. 298, 310.

Оставаясь апологетом свободы, он сознавал, что страна, не прошедшая политической школы, не готова к полному освобождению⁸⁷. Эти мысли он развивал в «Современных записках», где печатались его воспоминания об освободительном движении. 3 декабря 1929 г. он просил Шульгина читать их и даже обещал присылать ему отски своих мемуаров. Характерна та «диалектическая» оценка этого движения, которую он изложил в этом письме: «Я об нём говорю совсем не так, как Вы, и думаю, что моя точка зрения не только для меня, как для участника, обязательна, но что она гораздо более правдива. Освободительное движение было неизбежно и было полезно для России, и ругать его я не могу; но оно же было и несчастьем для России, ибо все позднейшие беды заложены были именно в нём... Если пользоваться банальным сравнением, то я бы сказал, что эта операция была совершенно необходимой, потому что больного не лечили вовремя, но хотя эта операция больного спасла, но его оставила всё-таки калекой» (с. 360).

Однако это лавирование освободительного движения между «полезностью» и «несчастьем» не обходилось без потерь для страны. В письме, отправленном Маклаковым Шульгину 5 апреля 1921 г., есть короткая и горькая фраза: «Мы с Вами ничего не поняли ни в своё время, когда приближалась революция, ни тогда, когда она сделалась» (с. 67). Но в начале XX в., когда Маклаков увлёкся борьбой с самодержавием, до этого эмигрантского прозрения было ещё далеко. «Есть некоторая польза в аграрных беспорядках, – заявлял тогда Маклаков на заседании кружка “Беседа”, секретарём которого он был. – Такие явления усиливают затруднения, испытываемые правительством. Самодержавие делается всё более опасной профессией... Надо внушать, что пугачёвщина есть следствие бесправия... Общество не понижает свои требования, правительство же уступает»⁸⁸. В начале 1901 г. в Московском литературно-художественном кружке Василий Алексеевич выдал тираду, облетевшую «первопрестольную»: «Если власть не умеет быть мыслью, то мысль должна быть властью». И получил за это выговор от начальства. «У меня до сих пор не изгладился в памяти разговор, – писал В.А. Гиляровский В.А. Маклакову. – Припомните: 1903 год. Славянский базар. Наш столик. Служит неизменный Семён. Подали раков. – Да когда же, наконец, мы добьёмся закрытия тотализатора, – спросил я Вас. – Вот подождите: добьёмся конституции, и тогда уж и закроем и тотализатор! Вот дождались конституции. Теперь я жду закрытия тотализатора – и это в Ваших руках»⁸⁹.

Может быть, Маклаков потому не чувствовал в эмиграции раскаяния за действия либералов, что он уже в годы первой революции забил «отбой» и повернул в сторону соглашения с властью? Манифест 17 октября 1905 г. он воспринял, в отличие от Милюкова, с удовлетворением и продолжения революции не желал. З.Г. Морозова писала ему: «От многих слышу, что Вы стали умеренным. Это меня очень радует»⁹⁰. Основные законы, утверждённые в апреле 1906 г., по мнению Маклакова, «были настоящею конституцией и делали впервые правовое государство возможным»⁹¹. Не случайно он весьма резко критиковал

⁸⁷ Маклаков В.А. Из прошлого. С. 313.

⁸⁸ ОПИ ГИМ, ф. 31, д. 142, л. 245.

⁸⁹ Там же, д. 15, л. 155–156.

⁹⁰ Там же, д. 47, л. 44–45.

⁹¹ Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. Воспоминания современника. М., 2006. С. 9.

І Думу и Выборгское воззвание, а затем пытался вместе с некоторыми умеренными депутатами II Думы «сговориться» со Столыпиным.

Но потом, уже в годы войны, последовал отход от курса на примирение с властью, что выразилось в статье «Трагическое положение», в думской речи 3 ноября 1916 г., в причастности к покушению на Г. Распутина. Но в самом начале Февральской революции он бросил было «спасательный круг» царскому правительству, вступив в переговоры с министрами – А.А. Риттихом и Н.Н. Покровским. После отказа вел. кн. Михаила Александровича от трона Маклакову казалось, что страна катится в пучину социальной революции. Он очень не хотел этого, но не знал, что делать. В 1925 г. он признается Шульгину, что революция открыла ему глаза «на очень многое: многое из того, что казалось у нас здоровым и прочным в России, совсем не было ни прочно, ни здорово» (с. 254). А в 1921 г. Маклаков, ещё не вполне оправившийся от разгрома Белого движения, торопился «зачехлить» знамя либерализма. Либеральная теория, заявлял он, «боялась сильной государственной власти потому, что боролась с этой властью во имя прав человека и гражданина, во имя свобод, неприкосновенности личности и т.д. Попытка полностью осуществить эти начала в государственной жизни, которую мы имели глупость и преступность осуществить в момент самой войны, повела к крушению». Приходилось с горечью признать, что, опираясь на «начала», «нельзя построить государственную жизнь» и победить большевизм (с. 116). Впрочем, Маклаков всё же сравнительно быстро пришёл в себя, и вскоре из его уст снова зазвучали бодрые речи о том, что роль либеральных идей в России «ещё не сыграна, и что выйти из той пропасти, в которую столкнули Россию, вернуть её к прежнему уровню в окончательном выводе можно только через них»⁹². Но ещё в 1923–1924 гг. на него тяжело давило сознание вины за 1917 год. Желая хоть немного ослабить его, он писал Шульгину, что революцию «нельзя было предупредить», поскольку это было «что-то фатальное, заготовленное веками» (с. 106, 170).

Маклаков и Шульгин расходились во мнениях о том, что делать эмиграции после поражения белых армий. Шульгин, только что вышедший из боя, выступал за продолжение борьбы и призывал эмиграцию «держаться Врангеля до судорог, пока он существует» (с. 59). Маклаков пытался остудить этот пыл. Уже в ходе войны он понял: она ведётся белыми генералами и их правительствами так, что неминуемо закончится поражением. Но тогда Маклаков делал на дипломатическом поприще всё, что от него зависело, дабы не допустить такого финала. Его соображения о необходимости бороться против большевиков вместе с поляками Г.Н. Михайловский (сын писателя и известный дипломат) находил гениальными, но сам же Маклаков рассказывал ему, что «наверху» подобные идеи в расчёт не принимались⁹³. Теперь же, после войны, Маклаков внушал Шульгину, что он должен оставить «поэтическую» мысль о продолжении активных действий против Советской России. Эмиграции, считал он, следует позаботиться о том, чтобы выжить и сохранить русскую культуру. И не мешать, не вредить России. Все надежды на перемену строя, на изживание большевизма Маклаков возлагал не на тех, кто проиграл в результате революции, а на тех, кто от неё выиграл (с. 137). Мысль о «перерождении советов» была близка и Шульгину, но он считал, что она осуществится тем

⁹² Маклаков В.А. Из прошлого. С. 279.

⁹³ Михайловский Г.Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920. Т. 2. М., 1993. С. 353–357.

быстрее, чем энергичнее эмиграция будет подталкивать их к этому, в том числе и с помощью подпольной работы в России. У Маклакова всякая конспирация вызывала «идиосинкразию». Он доказывал, что эмиграция нигде и никогда не достигала цели, когда пыталась вредить своей стране, а только препятствовала её развитию.

Часто в переписке Маклакова и Шульгина возникал «еврейский вопрос». И споры о нём были, пожалуй, самыми острыми из всех, что когда-либо они вели между собой. Будницкий верно отметил, что взгляды Маклакова и тут «были классически-либеральными и вполне прагматическими» (с. 26). Да и Шульгин, при всей своей воинственности в переписке, по словам Будницкого, всё же «не был зоологическим антисемитом» (с. 27). Сам Василий Витальевич называл себя «честным антисемитом» (с. 291), его возмущали «дурацкий процесс Бейлиса» (с. 237) и погромы. Но антисемитизм всё равно «выпирал» из него. Так, главную ошибку и грех правителей России он видел в том, что они вели борьбу одновременно с немцами и евреями (с. 235). По его мнению, с началом войны «надо было помириться с еврейством». Или, наоборот, продолжая борьбу с еврейством, «ни в коем случае не допускать войны с Германией» (с. 235).

Подход Маклакова к осмыслению истории был по-толстовски глубоким и масштабным⁹⁴. Он чувствовал особое значение своей эпохи для будущего и ещё в 1922 г. писал Шульгину: «Судьба подготовила нам честь, так как не решаюсь сказать, радость это или горе, жить в эпоху, которую будут внимательно изучать... поэтому интересно фиксировать объективную правду и неприкрашенную действительность». Он советовал Шульгину писать мемуары, чтобы помочь историкам понять «одну из самых интересных эпох», которая, если её судить здраво, а не по трафаретам, «должна была ясно показать, что будет с Россией» (с. 87). Он и сам испытывал большое желание заняться «историческим осмыслением» этого времени.

Есть что-то мистически сверхъестественное в судьбе этих людей, которых словно какая-то неведомая сила бросала в клочующий кратер мировых событий и несла по всем разломам политической тектоники России XX столетия. Историкам несказанно повезло, что эти люди не сгнули в кровавом вихре революции и Гражданской войны, не растворились в рассеянии на «чужих берегах», не отравились эмигрантской желчью взаимных обид и споров о катастрофе 1917 г., выжили во вселенском потрясении Второй мировой. Наверное, им свыше был дарован долгий «муфусаилов» век и особый талант, позволивший стать непревзойдёнными «летописцами» великой российской смуты и её последствий. Их переписка, опубликованная О.В. Будницким, – новое тому свидетельство. Эта переписка двух потерпевших крушение мудрецов учит простой истине истории, которая состоит в том, что народам и государствам дороже всего обходится упрямая глупость корыстной и вздорной элиты.

Материал подготовлен А.В. Мамоновым

⁹⁴ Многие идеи Толстого были близки Маклакову со студенческих лет. «Великое и знаменательное явление – учение Толстого», – записал он тогда в своём дневнике (ОПИ ГИМ, ф. 31, д. 1, л. 132). Но при всём пиетете, с которым Маклаков относился к писателю, он всё же не принял его учение как бесспорную истину, и нередко его беседы с «властителем дум» превращались в настоящий диспут. Лев Николаевич сразу его оценил, часто прогуливался, беседуя с ним, и сильно скучал, когда Василий Алексеевич долго не навещал его в Ясной Поляне. Толстой называл его «старинный молодой человек». Многолетняя дружба с Толстым была для Маклакова, по собственному признанию, «великой удачей» в жизни (Маклаков В.А. Из воспоминаний. С. 168).